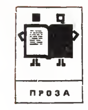
Дина
РУБИНА



КОГДА ЖЕ ПОЙДЕТ СНЕГ?..

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

За ночь исчезли все городские дворники.

Усатые и лысые, пьяные, с сизыми носами, громадные глыбы в коричневых телогрейках, с прокуренными зычными голосами; дворники всех мастей, похожие на чеховских извозчиков,— все вымерли за сегодняшнюю ночь.

Никто не сметал с тротуаров в кучи желтые и красные листья, которые валялись на земле, как дохлые золотые рыбки, и никто не будил меня утром, перекликаясь и гремя ведрами.

Так они разбудили меня в прошлый четверг, когда мне собирался присниться тот необыкновенный сон, даже не сон еще, а только ощущение надвигающегося сновидения без событий и действующих лиц, все сотканное из радостного ожидания.

Ощущение сна — сильная рыбина, бьющаяся одновременно и в глубине организма, и в кончиках пальцев, и в тонкой коже на висках.

И тут меня разбудили проклятые дворники. Они гремели ведрами и шаркали метлами по тротуару, сметая в кучи прекрасные мертвые листья, которые вчера еще струились в воздухе, словно золотые рыбки в аквариуме.

Это было в прошлый четверг... В то утро я проснулась и увидела, что деревья пожелтели вдруг за одну ночь, как седеет за одну ночь человек, переживший тяжкое горе. Даже то деревце, которое я посадила весной на субботнике, стояло теперь, вздрагивая золотистой шевелюрой, и было похоже на ребенка с взлохмаченной рыжей головкой.

«Ну, началось...— сказала я себе,— приветик, началось! Теперь они будут сметать листья в кучи и сжигать, как еретиков».

Это было в прошлый четверг. А сегодня ночью все городские дворники исчезли. Исчезли, ура! Во

Рисунки
Е. МУХАНОВОЙ.

всяком случае, зто было бы просто здорово — город, заваленный листьями. Не наводнение, а н а л и с т н е н и е...

Но скорее всего я просто проспала.

Сегодня воскресенье. Максим не идет в институт, а папа на работу. И мы весь день будем дома. Все втроем, весь день, с утра до вечера.

— Дворников больше не будет,— сказала я, садясь за стол и намазывая масло на кусок хлеба.— Все дворники кончились сегодня ночью. Они вымерли, как динозавры.

— Это что-то новенькое,— буркнул Максим. Помоему, он был сегодня не в духе.

— А я редко повторяюсь,— охотно согласилась я. Это было началом нашей утренней разминки.— У меня обширный репертуар. Кто сделал салат?

— Папа,— сказал Максим.

— Макс,— сказал папа. Это они сказали одновременно.

— Молодцы! — крикнула я.— Не угадали. Салат сделала я вчера вечером и поставила его в холодильник. Там он, я полагаю, был найден?

— Да,— сказал папа.— Бестия...

Но и он сегодня был не в духе. То есть не то чтобы не в духе, а вроде бы чем-то озабочен. Даже зта утренняя зарядочка, которую я запланировала с вечера, успеха не имела.

Папа минут десять еще покопался в салате, потом отложил вилку, уперся подбородком в сцепленные руки и сказал:

— Нужно обсудить одно дело, ребята... Я хотел с вами поговорить. Вернее, посоветоваться. Мы с Натальей Сергеевной решили жить вместе...— Он помолчал, подыскивая еще какое-то слово.— Ну-у, что ли, связать свои судьбы.

— Как? — ошалело спросила я.— Как зто?

— Папа, прости, я забыл поговорить с ней вчера,— торопливо сказал Макс.— Мы не возражаем, папа...

— Как зто? — тупо переспросила я.

— Мы поговорим в той комнате! — сказал мне Макс.— Это все понятно, мы все понимаем.

— Как зто? А как же мама? — спросила я.

— Ты с ума сошла? — сказал Максим.— Мы поговорим в той комнате!

Он с грохотом отодвинул стул и, схватив меня за руку, поволок в нашу комнату.

— Ты что, с ума сошла?— холодно повторил он, насильно усадив меня на диван.

Я спала на очень старом диване. Если заглянуть за второй валик, к которому я спала ногами, можно увидеть наклейку, рваную и еле заметную: «Диван № 627».

Я спала на диване № 627 и иногда ночами думала, что где-то у кого-то в квартирах стоят такие же старые диваны: шестьсот двадцать восемь, шестьсот двадцать девять, шестьсот тридцать — младшие братья моего. И я думала, какие, должно быть, разные люди спят на зтих диванах и о каких, должно быть, разных вещах они думают перед сном...

— Максим, а как же мама? — спросила я.

— Ты с ума сошла-а! — простонал он и сел рядом, зажав ладони между колен.— Маму не воскресишь. А у отца жизнь не кончена, он еще молод.

— Молод?! — с ужасом переспросила я.— Ему сорок пять лет.

— Ни-на! — раздельно сказал Максим.— Мы же взрослые люди!

— Это ты взрослый человек. А мне пятнадцать.

— Шестнадцатый... Мы не должны отравлять ему жизнь, он и так долго держался. Пять лет один, ради нас...

— И еще потому, что он любит маму...

— Нина! Маму не воскресишь!

— Что ты повторяешь, как осел, одно и то же!!! — заорала я.

Зря я так выразилась. Никогда не слышала, чтобы ослы повторяли одну и ту же фразу. И вообще зто весьма привлекательные животные.

— Ну, поговорили...— устало сказал Максим.— Ты все поняла. Отец будет жить там, у нас негде, да и мы с тобой в конце концов взрослые люди. Это даже хорошо, что папина мастерская станет твоей комнатой. Тебе давно пора иметь свою комнату. Перестанешь прятать на ночь лифчики под подушку, будешь вешать их на спинку стула, как человек...

Откуда он знает про лифчики? Ну и дурак...

Мы вышли из комнаты. Отец сидел за столом и гасил сигарету в пустом блюдечке из-под колбасы.

Максим подтолкнул меня вперед и положил руку туда, где сзади у меня начиналась шея. Он ласково погладил меня по шее, как рысака, на которого ставят, и сказал вполголоса:

— Ну...

— Ты что делаешь? — крикнула я на отца дворницким голосом.—Пепельницы тебе нет?— И быстро пошла к двери.

— Ты куда? — спросил Максим.

— Да пройдусь...— ответила я, надевая кепку.

И тут зазвонил телефон.

Максим поднял трубку и вдруг сказал мне, пожимая плечами:

— Тебя. Очень мужской голос.

— Это какая-то ошибка,— сказала я.

Вообще-то я не привыкла, чтобы мне звонили мужчины. Мужчины мне еще не звонили. Правда, где-то в седьмом классе надоедал один пионервожатый из нашего лагеря. Он говорил неестественно высоким, смешным голосом. Когда он звонил по телефону и попадал на брата, тот кричал мне из коридора: «Иди, там тебя евнух спрашивает!»

Этот говорил красивым низким голосом.

— Вас зовут Нина,— сказал он.

— Спасибо, я в курсе,—машинально ответила я.

— У вас чудесный голос. Простите, я волнуюсь и говорю пошлости... Я видел вас в театре...

— Да. На премьере моего спектакля «Преступление и наказание»,— сказала я. Кто-то из нашего класса меня разыгрывал, это было ясно.

— Н-нет...— нерешительно возразил он.— Вы сидели в амфитеатре. Мой товарищ, оказалось, совершенно случайно знал вас и дал номер телефона.

— Здесь какая-то ошибка,— сказала я скучным голосом.— Последние тридцать два года я не бываю в театре.

Он засмеялся — у него был очень приятный смех — и укоризненно сказал:

— Нина, это несерьезно. Понимаете, мне необходимо вас увидеть. Просто необходимо. Меня зовут Борис...

— Борис, я очень сожалею, но вас разыграли. Мне пятнадцать лет. Ну, шестнадцать...

Он опять засмеялся и сказал:

— Это не так плохо. Вы еще достаточно молоды.

— Хорошо, мы встретимся сейчас,— решительно сказала я.— Только, знаете что, давайте оставим эти опознавательные газеты в руках и традиционные цветки в петлицах. Вы угоняете машину марки «Москвич» и едете в сторону пустыни Гоби. Я надеваю красный комбинезон и желтый картуз и иду в том же направлении. Там мы и встретимся... Одну минутку! Вы не дворник по профессии?

— Нина, вы — чудо! — сказал он.

Больше всего ему понравилось, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Этот картуз привез мне из Ленинграда Макс. Громадный кепон с длинным таким, комичным козырем.

— Ты похожа на подростка из американского боевика,— сказал Максим.— А вообще модно и здорово.

Правда, на меня с ужасом оборачивались старухи, но в принципе это можно было пережить.

Так вот, больше всего ему понравилось, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Но начинать надо не с этого. Начать надо с того момента, когда я увидела его на углу, возле овощного киоска, там, где мы в конце концов договорились встретиться.

Я сразу поняла, что это он, потому, что в руке он держал три громадные белые астры, и потому, что, кроме него, возле этого вонючего киоска стоять было некому.

Он был потрясающе красив. Самый красивый парень из тех, кого я видала. Даже если он был в девять раз хуже, чем это мне показалось, все равно он был в двенадцать раз лучше самого красивого мужчины.

Я подошла совсем близко и уставилась на него, засунув руки в карманы. Карманы на комбинезоне пришиты высоковато, поэтому локти торчат в стороны и я становлюсь похожа на человечка, собранного из металлоконструкций.

Он раза два взглянул на меня и отвернулся, потом вздрогнул, снова посмотрел в мою сторону и растерянно начал меня разглядывать.

Я молчала.

— Это... ты кто? — наконец испуганно спросил он.

— Я монах в синих штанах, в желтой рубашке, в сопливой фуражке.— Я вспомнила детскую считалочку, и, кажется, совсем некстати. Он ее успел забыть и поэтому смотрел на меня как на ненормальную.

— Но как же... Ведь Андрей говорил, что ты...

— Все ясно,— сказала я.— Андрей Волохов из пятой квартиры. Наш сосед. Он пошутил и дал номер моего телефона. Он шутник, разве вы не замечали? Одно время он посылал мне любовные письма, подписывался гиперболоидом инженера Гарина.

— Так...— медленно сказал он.— Оригинально.— Хотя мне показалось, что создавшаяся ситуация была похожа скорее на идиотскую, чем на оригинальную.

— Да, вот, во-первых, возьми...— Он протянул мне астры.— А во-вторых, это ужасно! Где же я теперь найду ее?

— Кого?

— Ну, ту, о которой говорил Андрей.

Он посмотрел на меня расстроенным взглядом, сочувствуя, наверное, и себе и мне.

— Слушай, а тебе в самом деле лет пятнадцать? — сказал он.

— Не лет пятнадцать, а пятнадцать лет. Даже шестнадцать,— поправила я его.

— Ничего, что я на «ты»?

— Ничего,— сказала я.— Со мной по-другому не получается. Я карманная.

— А?

— Маленького роста...— сказала я.

— Подрастешь еще...

Подбодрил. Ненавижу!

— Ни в коем случае! — оборвала я.— Женщина должна быть статуэткой, а не Эйфелевой башней.

Лгала бесстыдно. Благоговею в душе перед крупными женщинами. Но что поделаешь — при моих доспехах нужно уметь обороняться...

Он весело хмыкнул, потер переносицу и внимательно взглянул из-под бровей.

— Знаешь что, если такое дело, пойдем посидим в парке, что ли?.. Съедим по порции эскимо! Говорят, оно здорово помогает при расстройстве нервной системы. Эскимо любишь?

— Люблю. Все люблю! — сказала я.

— А есть на свете такое, что ты не любишь?

— Есть. Дворники,— сказала я.

Эскимо в парке не оказалось, и вообще там ни черта не оказалось, кроме пустых скамеек. А мороженое продавали только в кафе.

— Зайдем? — спросил он.

— Ну, конечно! — удивилась я.

Было бы лросто глупо, если бы я упустила такой случай. Не так уж часто приглашает меня в кафе потрясающе красивый мужчина. И еще я пожалела, что сейчас не вечер и не зима. В первом случае кафе было бы набито людьми и играла бы музыка, а во втором случае он наверняка помог бы мне снять пальто. Должно быть, это чертовски приятно, когда снимать лальто вам ломогает такой красивый ларень.

— Что же все-таки мне делать? — задумчиво проговорил он, когда мы уже сидели за столиком.— Где ее искать?

— По-моему, ее и искать не стоит,— небрежно сказала я.

Мы сидели на летней площадке лод тентами. Скверик просвечивался отсюда насквозь, так что видны были фонарь у входа и афиша на фонаре.

— Вы увидели в театре девушку, которая вам понравилась. Девушка красивая. Ну и что? Вон их сколько на улице! Я тоже буду красивая, когда вырасту, подумаешь! Но если уж вам так хочется найти именно ту, объявите экспедицию, снарядите корабль, наберите команду, а меня возьмите юнгой.

Он расхохотался.

— Ты просто прелесть, малыш! — сказал он.— Но прелестней всего то, что ты и в самом деле явилась в красном комбинезоне и желтом картузе. За свои двадцать три года... ну, двадцать два... я впервые столкнулся с таким экземпляром, как ты!

Я облизнула ложку и, прищурив один глаз, закрыла ею слепое осеннее солнце.

— Это что, мой возраст или как я выгляжу позволяет вам говорить таким снисходительным тоном? Почему вы уверены, что я не дам вам по носу? — с любопытством спросила я.

— Ну не сердись,— сказал он и улыбнулся.— С тобой забавно разговаривать. Выходи за меня замуж, а?

— Еще не хватало, чтобы мой муж был старше меня на семь лет. Чтобы он умер на семь лет раньше меня. Еще этого не хватало.— Тут он просто тюкнулся в розетку от смеха.— И вообще, самая приятная вещь — остаться старой девой и варить из айвы варенье. Тысячи банок варенья. Потом дождаться, пока оно засахарится, и раздаривать его родственникам.— Я серьезно смотрела на него. Это уже наступил тот момент в разговоре, когда я начинаю острить без улыбки.

— А мама не возражает против этой установки? — подмигнув, спросил он.

— Мама в принципе не возражает,— сказала я.— Мама погибла пять лет назад в авиационной катастрофе.

У него изменилось лицо.

— Прости,— сказал он,— прости ради бога.

— Ничего, бывает...— спокойно ответила я.— Еще мороженого!

Мне не хотелось мороженого. Просто приятно было смотреть, как этот высокий, красивый парень лослушно поднялся и направился к стойке. На секундочку могло локазаться, что пошел он не потому, что хорошо воспитан, а лотому, что это я, я лотребовала еще порцию мороженого!

В сущности, мне было все равно, лосидит он здесь еще минут лятнадцать или вежливо распрощается. Просто иногда бывает интересно притвориться перед самой собой. Всегда развлечение...

По дорожке мимо кафе проехал лацан на велосипеде. Он держался за руль одной рукой, как бы показывая этим, что — фи, чепуха, он, если захочет, сможет ехать, вообще не держась за руль.

Несмотря на будний день, в скверике царило безделье. Оно довлело над всем — шуршало газетами на скамейках, сквозило солнечными лучами в листьях деревьев. И даже снующие по своим делам люди в скверике казались бесцельно шатающимися. Всем безраздельно владела лраздность...

— Скорей бы уж снег,— сказала я, когда он вернулся, лоставив передо мной розетку с белым подтаявшим комочком.— Вы на санках катаетесь?

— Ага,— сощурился он.— Преимущественно этим и занимаюсь.

Когда он это сказал, я вдруг поняла, что передо мной уже совсем взрослый и, вероятно, очень занятой человек. Я лодумала, что хватит, нужно раскланяться и убраться восвояси, и неожиданно для себя сказала:

— А пойдемте в кино!

Это была вершина моей наглости и хамства. Но он не дрогнул.

— А уроки когда делать?

— Я не готовлю уроков. Я слособная.

Я отчаянно смотрела на него, и взгляд мой был нахален и чист...

Мы гуляли ло городу до тех пор, лока не начало смеркаться. Я вела себя скверно, совсем сошла с ума. Я болтала без умолку, забегая леред ним, размахивая руками и заглядывая ему в глаза. Это был стыд, позор, ужас. Я лоходила на семилетнего Петьку, которого повел в зооларк летчик-сосед дядя Вася.

Прошел дождь, и, не обращая внимания на этот драгоценный дар неба, по улицам сновали люди. Они вылезали из такси, громко хлопнув дверцей, изучали витрины магазинов или, лроходя мимо, окидывали их взглядом, стояли на остановках трамваев, мимоходом договаривались о встречах. И у

многих в руках были зонтики — милые и добрые механизмы. Самое невинное, что изобрели люди.

Затем опять показалось солнце, высветляя на тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых листьев, острый осенний запах будоражил душу и заполнял ее ни с чем не сравнимой тоской. Но не ноющей, а сладкой и веселой тоской, словно люди, бредущие в сумерках по осеннему городу, были не действительностью, а дорогим воспоминанием.

Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С каждым днем все яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу над умирающим противником в упоительной желтизне и оранже...

Наш неосвещенный подъезд в сумерках напоминал одновременно беззубую разинутую пасть и пустую глазницу.

Я понимала, что это завершение неповторимого дня, и старалась придумать для него такое же прекрасное многоточие, но, подойдя к подъезду, обнаружила, что ничего не получается, и почему-то сказала:

— Вот таким образом. Ну, я пошла...

— Это отец поднял трубку?

— Брат. Хороший брат, качественный. Ленинский стипендиат. Не то, что я. У меня по литературе тройка. Кажется, я опять начала... Ну, я пошла!

— А отец хороший?

— Еще лучше брата. Он художник-декоратор в театре. Хороший художник и отец. Хороший, вот только жениться вздумал.

— Ну и пускай...

— Не пущу!

— А ты злюка! — Он засмеялся.

— Ну, я пошла?

И тут случилась первая неожиданная вещь.

— А можно я буду звонить тебе, когда мне будет не слишком весело? — спросил он небрежно, прищурившись.

И тут случилась вторая неожиданная вещь.

— Нет,— сказала я.— Лучше я позвоню вам, когда мне будет не слишком грустно...

Сегодня вечером папа уходил. Мы первый раз оставались вдвоем.

Он щеткой чистил в коридоре туфли, а мы торчали тут же: я сидела на табуретке, а Максим стоял, прислонившись к косяку,— и молча следили за его движениями.

Папа был веселым и бодрым, во всяком случае, казался таким. Он рассказал нам два анекдота, а я в это время думала, что вот он уходит, а вещи его пока остаются, но потом он их, конечно, будет постепенно уносить, как это у людей делается.

Не унесет только мамин портрет со стены, его любимый портрет, где мама нарисована фломастером, вполоборота, как бы оглянувшись, с длинной сигаретой в длинных пальцах. Этот портрет нарисовала мамина приятельница — журналистка тетя Роза. У нее была кошка, которая начинала плакать, услышав песню «Синий платочек». Да что это я — была! Есть. И кошка есть, и тетя Роза есть...

Сегодня папа уходил.

Он, конечно, будет часто приходить и звонить, но никогда больше не зайдет поздно вечером в нашу комнату, чтобы поправить одеяла на своих дылдах.

Сегодня папа уходил к женщине, которую он любит.

Он дочистил туфли, снял сетку с гвоздя и весело сказал:

— Ну, пока, пацаны! Завтра позвоню.

— Ну, давай! — в тон ему бодро сказал Максим и открыл дверь.

На лестничной площадке папа еще раз приветственно помахал рукой.

Когда захлопнулась дверь, я заорала. Признаться, я с нетерпением ждала этого момента, чтобы нареветься за милую душу. Я плакала взахлеб, сладко, горько, с подвываниями, как плачут маленькие дети. Максим с силой прижимал мое лицо к своей фланелевой рубашке, так, что трудно было дышать, без конца гладил меня по голове и тихо, торопливо повторял:

— Ну, все, все... Ну, хватит, хватит...— Он боялся, что отец еще не вышел из подъезда и может услышать мой концерт.

Я замолчала, и мы долго слонялись по комнатам, не зная, за что взяться. В животе у меня ныло.

Так мы дотянули до одиннадцати. Потом Максим постелил мне в отцовской мастерской, что означало вступление в права хозяйки комнаты, загнал меня в постель, погасил свет и вышел.

Надо было чем-то заняться. Я решила поразмышлять обо всем этом. Заложила руки за голову, закрыла глаза и приготовилась. Но сегодня у меня ни черта не получалось, все как-то разваливалось, как большое белое пузо той снежной бабы, которую мы с отцом возвели прошлой зимой у нашего подъезда. Я думала обо всем сразу и ни о чем. Не успевала я додумать об одном невыносимом происшествии, как на меня наскакивали мысли о другом, таком же нестерпимом и немыслимом.

Я вообще-то не могу думать сразу о нескольких предметах. Я выбираю один, тот, что мне сейчас больше интересен, и начинаю его обдумывать. Причем ни в коем случае не выхожу за рамки этого предмета.

Потом я мысленно говорю себе: «Ну, об этом — всё. Валяй дальше»,— и приступаю к другой теме.

Например, когда я думаю о папе, я могу думать о его мастерской, о театре, о декорациях к новому спектаклю, о рубашке, которую ему надо погладить к премьере.

О том, что после премьеры в служебном гардеробе он галантно поможет надеть пальто Наталье Сергеевне — ассистенту режиссера, и поведет ее к нам домой. Пить чай.

И они будут пить чай в той комнате, где висит мамин портрет. Там мама, как бы случайно оглянувшись, удивленно смотрит, держа на весу руку с только что закуренной сигаретой.

И при всем том мне в голову не придет начать думать о маме. Мама — это особая, громадная, тысячу раз обдуманная область мыслей. В ней водятся журналистские симпозиумы, с которых мама летит в неразбивающихся самолетах и везет мне ручку с купальщицей (повернешь ее вниз — женщину заполняет синий купальник, вверх — купальник как рукой сняло)...

Я зажгла ночник и села на кровати. Приятно посидеть в обществе своей физиономии, повторенной во множестве вариантов и выполненной в разнообразных позах.

Ни один великий человек не может похвастаться таким количеством своих портретов, как я. Папа говорит, что я — великолепная модель, так как продолжаю сидеть даже тогда, когда мне уже кажется, что я огрызок копченой колбасы и что рука, кото-

рая лежит на коленке, никогда больше не сможет коснуться никакой другой части тела.

Шесть моих портретов висели на стенах, остальные стояли внизу.

На зеркале висел забытый папин галстук, синий, в белый горошек. Я надела его поверх ночной сорочки и подтянула повыше. Нет, все-таки я больше на маму похожа! И нос, да и подбородок тоже...

Я открыла дверь в нашу комнату. Максим сидел за столом и смотрел в одну точку. Он повернулся и странно поглядел на меня.

— Макс,— сказала я, теребя галстук, безвольно болтавшийся на моей куриной шее.— Конечно, зто здорово, что у меня теперь есть комната. Но можно я еще чуть-чуть посплю на своем диване?

Я воевала с собой три дня. Я лупцевала себя по физиономии, бросала на землю и топтала ногами. Мне кажется, я смогла бы написать роман о том, как прожить зти три дня, вернее сказать, о том, как выжить сквозь зти три дня. И первая часть романа называлась бы «День Первый».

Потом случилось что-то вроде инфаркта или маразма — я набрала номер его телефона и с ужасом слушала, как на меня накатываются протяжные гудки, как волны, накрывая меня с головой.

«Если сердце мое разобьется, что станешь делать с нелепыми осколками?» — скажу я ему сейчас.

Но голос в трубке так умеренно и безразлично произнес «Да?», что я вдруг окоченела и робко сказала:

— Ну вот и здравствуйте...

— Слушай, ну нельзя же месяцами пропадать! — насмешливо и обрадованно крикнул он.— В экспедиции ты уходишь, что ли?

Мы не виделись три дня. Мне тотчас показалось, что все существующие в мире ласковые и отрадные слова превратились в оранжевые апельсины, и я купаюсь в них, подбрасываю и ловлю, и я жонглирую ими с необыкновенной ловкостью.

— Ну, ты намерена произнести сегодня что-нибудь путное, ужасное дитя?— спросил он. — Или ты совершенно деградировала за три дня?

— О, зто прелестно, что вы дни считаете,— спокойно сказала я, чувствуя, как почему-то дрожит большой палец правой ноги.— Вы, наверное, просто по уши влюблены в меня.

Он засмеялся, как смеются, когда услышат хорошую остроту,— с удовольствием.

— Наглый подросток,— сказал он.— Ну как твои дела по литературе?

— Скверно. Мне уж третью неделю надо писать сочинение о Катерине в «Грозе», а я как только подумаю об этом, так у меня просто руки отваливаются. Что делать?

— Подожди, пока они отвалятся совсем, и сошлись на то, что тебе нечем было писать.

Мы одновременно прыснули в трубку. Кто-то позвонил в квартиру.

— Одну минутку,— сказала я.— Нам молоко принесли.

Это была Наталья Сергеевна. Она улыбалась, и ее полное, с нежной розовой кожей лицо, статная фигура в темно-синем пальто с меховым воротником, пухлые руки в синих перчатках — все в ней дышало оживлением и пикантностью.

— Нинуль! — весело и задорно, как всегда — зто был ее стиль,— проговорила она, протягивая мне полную сетку с апельсинами.— В театре давали, папа взял.

— Ваш папа? — коротко спросила я.

— Ваш! — засмеялась она. Сделала вид, что не обратила внимания.— Он взял для вас шесть килограммов, а занести попросил меня: его срочно вызвали.

Я весело и задорно выпалила:

— Да что вы, Натальсергеевна, да у нас полным их полно! Весь балкон завален! Деваться от них некуда! В кухне под руками валяются!

Она удивленно подняла тонкие, как стрелки, брови, переложила сетку из правой руки в левую и немного отступила назад.

— Зря вы только такую тяжесть таскали! — веселилась я.— У нас они по всему коридору катаются. Вон один в тапке светит! Максим вчера гвоздь в туалетной апельсином забивал!

Она стала спускаться по лестнице, и все время неловко улыбалась, и повторяла: «Ну ладно, ну что ж...»

Я захлопнула дверь и воровато оглянулась. Максим стоял в дверях нашей комнаты и смотрел на меня. Я подумала, что сейчас он прибьет меня, как сидорову козу, и еще подумала, что здорово, наверно, попало зтой козе, если она вошла в поговорку.

— Да купим мы зти проклятые апельсины! — жалобно и трусливо крикнула я.

Он молчал. Я подумала: скверно, совсем шкуру спустит.

— Ну что ты маешься, бендяжка! — тихо сказал он, вышел и прикрыл за собой дверь.

«Бендяжка»... Что-то маленькое, убогонькое, хромонькое. Это он от волнения слоги перепутал.

Я на цыпочках подошла к телефону и тихонько опустила трубку на рычаг...

«Вы заставляете упрашивать себя, маэстро! Ну, начинайте же, это некрасиво! Вы заставляете всех ждать!»

Снег не начинался... Я сидела на старом диване № 627 и упрашивала снег начать представление. Чтобы с неба грянули миллионы слепых белых акробатов.

Я сидела, обхватив колени длинными руками. Такими длинными, как змеящиеся рельсы железной дороги, гибкие и сплетающиеся. Если б я захотела, я бы охватила ими огромное расстояние. Весь наш город с домами и ночными улицами. Я бы поместила его между животом и приподнятыми коленями. Тогда тень от подбородка была бы тучей, закрывающей полгорода. И эта туча разразилась бы великим полчищем слепых кувыркающихся акробатов. И наступит великая тишина. Я дохну теплым ветром, и в каждом доме окна заплачут длинными кривыми дорожками.

В одном из домов живет мой папа. Он говорит, что воображаемое увеличение или уменьшение предметов у меня с детства, от папиных эскизов и моделей декораций. Он часто подолгу делал их — крошечную комнату или уголок сада, а я мысленно населяла их людьми. Я приближала глаза к игрушечной сцене и шепотом разговаривала с этими людьми. В детстве я с ними разговаривала...

Вся беда в том, что не начинался снег. А он должен был дать сегодня одно из самых грандиозных своих представлений.

«Это стыдно, маэстро, так ломаться! Ну прошу же вас, прошу!»

— Что ты там бормочешь? — спросил Максим и сел на кровати.

— Я хочу снега,— ответила я, не поворачивая головы.

— А я хочу курить. Подай-ка мне спички с подоконника.

Я бросила ему спичечный коробок, он закурил.

— Что за тип звонит тебе в последнее время? — подняв бровь, строго спросил он.

— У тебя сейчас идиотская поза какого-нибудь американского босса,— сказала я.— Это не тип. Это, предположим, инженер. Он проектирует землеройки, или сенокосилки, или сноповязалки. Он объяснял, я не запомнила что.

— Какие землеройки?! — вдруг закричал Макс так, что я вздрогнула. Редко он так сразу распаляется.— Что ты за человек! Тебя же из дому нельзя выпустить, ты же, как свинья лужу, ищешь для себя идиотские приключения!

— Макс, пожалуйста, не так интенсивно...— У меня с утра болели спина и мой проклятый правый бок, а тут все еще больше разболелось.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что надо таким вот «инженерам» от таких дурочек, как ты? — сухо спросил он.

— Представляешь, каким нужно быть уродом и кретином, чтобы что-то хотеть от меня?—подхватила я.

Тогда он стал пугать меня всякими невероятными историями, которых в жизни, как правило, не бывает. Он долго говорил, так долго, что мне показалось, будто я успела раза три заснуть и опять проснуться. А бок болел все сильней и сильней, и я старалась, чтобы Макс не заметил, как я цепляюсь за него.

Но он заметил.

— Опять?! — крикнул он, и в глазах его застыл ужас. У них всегда такие глаза, когда у меня приступы. Он ринулся в коридор и стал набирать номер отцовского телефона. В коридор, в трусах... Там же холодно...

Пока он паниковал и кричал в телефон, я тихонько лежала на диване, скорчившись, и молча смотрела в окно.

«Эх ты...— мысленно упрекнула я снег.— Так и не начался...»

Я знала, что это последние спокойные, хоть и болевые минуты. Сейчас приедет на такси отец, приедет «скорая», и все завертится, как в немом кино...

Нам повезло. Дежурил мой дорогой доктор с чудесным именем — Макар Илларионович. Девять лет назад он удалил мне почку, и меня чертовски интересовало, что он будет делать на этот раз. Макар Илларионович был ранен во время войны, ранен в шею, поэтому когда он хотел повернуть свою совершенно лысую голову, приходилось разворачиваться плечом и грудью. Он был замечательным хирургом.

— Так,— хмуро сказал он, осматривая меня.— И чего ты здесь околачиваешься? Ты мне совершенно не нужна!

Он что-то буркнул медсестре, та подошла ко мне со шприцем. «Теперь все в порядке»,— подумала я, цепенея от боли.

Отец вел себя скверно. Он выудил из какого-то потайного кармана расческу и выделывал с ней что-то невероятное. Казалось, сам он был обособленным существом, а суетящиеся, издерганные руки вытворяли черт знает что по собственной инициативе. Все время он топтался около Макара Илларионовича, потом, не стесняясь меня, сказал умоляющим голосом:

— Доктор, эта девочка должна жить!

Макар Илларионович быстро развернулся к отцу плечом, должно быть, собираясь ответить что-то резкое, но посмотрел на него и промолчал. Может быть, он вспомнил, что девять лет назад здесь стояли оба моих родителя и умоляли его о том же.

— Ступайте домой,— мягко сказал он.— Все будет так, как надо.

В город вернулись теплые дни.

Они возвратились с удвоенной лаской, как возвращаются неверные жены. Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, а сухие, по-осеннему поджарые листья густо лежали на земле молча, без шороха. Несколько дней город, казалось, находился в теплом и каком-то блаженном обмороке, он предавался осени, этой изменчивой лгунье, и не верил, не хотел верить в скорое наступление холодов...

Целыми днями я просиживала на скамеечке в дальнем углу больничного парка, наблюдая за игрой геометрических теней от голых, сухих веток деревьев. Тени скользили по выцветшему рисунку больничного халата, по рукам, по асфальту.

По двору гонялись две влюбленные псины...

Парк проглядывался насквозь, и отсюда видны были проходная, четырехэтажные корпуса больницы, решетчатая ограда. За оградой, сразу через дорогу, было фотоателье с внушительной витриной. На фотографиях, выставленных в ней, люди все сидели с вывороченными головами, как индюки со свернутыми шеями. Они все, с интересом и надеждой подавшись вперед, как бы слушали невидимого оратора, окончание речи которого нельзя пропустить и которому нужно будет обязательно похлопать.

За оградой существовал мир здоровых людей. Для меня это было враждебное государство. Мне внушали недоумение их здоровье и веселость.

Иногда посидеть на скамеечке притаскивалась старенькая Вера Павловна — доктор наук, специалист по женским болезням, она была моей единственной соседкой по палате. Я замечала ее издалека, она с чрезвычайной осторожностью передвигалась, придерживаясь за стены здания, за ограду, за деревья. Наконец, усаживалась рядом со мной и долго переводила дух.

— В молодости человек не замечает, как годы летят, — начинает она. — И двадцать лет — молодая, и сорок лет — молодая. А я вот вспоминаю себя... Двадцать лет назад — ведь человеком еще была...

Мы долго сидим молча, вместе наблюдая за скользящими тенями на асфальте, потом она задумчиво рассказывает:

— Собралась я недавно дорогу перейти. Стою и никак не решусь; ходок я теперь неважный, а с прогрессом у нас шутки плохи. Стою и смотрю, как молодые спешат, снуют по своим делам. Вдруг подходит ко мне женщина, берет под руку и говорит: «Здравствуйте, доктор! Вы меня, конечно, не помните, а вот я никогда вас не забуду. Я сейчас наблюдаю за вами и думаю: когда-то вы за двадцать минут сделали сложнейшую операцию, а сейчас вот уже четверть часа не можете дорогу перейти...»

Она закрывает глаза и смеется:

— А я разве упомню ее? Я этих операций сотни переделала...

У Веры Павловны выпуклые глаза, и когда она закрывает веки, глаза становятся похожими на сомкнутые створки раковины. Такие плоские, перламутровые внутри раковины, в которых прячутся нежные, студнеобразные моллюски.

— Вот вам, наверное, родители кажутся престарелыми, а ведь по сравнению со мною, например,— совсем сопляки...

— У меня мама молодая,— говорю я.— У меня мама, Вера Павловна, знаете, изумительная женщина была. У нее вся жизнь была необыкновенной, изумительной. И профессия. Вы, наверное, помните, встречали, не могли не читать в газетах фельетоны Этѐри Кòнтуа. Она и грузинкой была необыкновенной — рыжеволосая, синеглазая. Я ведь, кстати, не Нина, а Нинò. Как вам это понравится? Нино... Она встретила отца, когда ей исполнилось шестнадцать. В этот день. И в этот же день они сняли какую-то халупу на окраине города. Знаете, Вера Павловна, мне, между прочим, тоже совсем скоро будет шестнадцать, и я все-таки посамостоятельней, чем была она, избалованная дочка, ни разу чайник не вскипятившая. И вот я часто думаю, смогла бы вот так, сразу, понять, что это судьба, и пойти за человеком без оглядки? Я думаю—нет. Деда чуть кондрашка не хватила, когда он услышал. Сами понимаете—единственная, «бусинка, росинка, детка ненаглядная», и вдруг как снег на голову какой-то голоштанный третьекурсник художественного училища. Скандалище! В халупе посередине — мольберт с неоконченным ее портретом, у стены — раскладушка и две табуретки. Все. Эти сплетницы, соседки-кумушки, пальцами на нее показывали. А она ходила с большим животом и плевала на всех. И когда Максиму было семнадцать, ей было тридцать три, и она всегда неправдоподобно молодо выглядела, поэтому, когда они с Максимкой шли по улице, все думали, что она — его девушка.

А потом—этот самолет.

Я ненавижу самолеты, Вера Павловна, я никогда не сяду в самолет. И что самое удивительное — папа говорит, что он на наших глазах... А я не помню. И ведь я была тогда большой девочкой — десять лет. Помню на себе белые гольфы с бомбошками, помню, что Максим в тот день первый раз побрился и был ужасно горд этим, что папа не достал маминых любимых гвоздик и ходил поэтому расстроенным... Затем помню долгое, нехорошее ожидание в аэропорту. И вот... Наверное, он как-то неэффектно взорвался в воздухе, если я не помню. Ведь это ужасно, неправдоподобно, правда? Все кричали, и отец как-то смешно перепрыгнул через ограду и бежал по летному полю... И вот, гольфы с бомбошками помню, а это— нет... Ужасно.

Я замолкаю и смотрю на влюбленных собак, лениво развалившихся на солнышке. Та, которую я считаю дамой, положила морду на рыжую лоснящуюся спину своего поклонника. Полузакрытые глаза, влажный подергивающийся нос ее выражают покой, уверенность и легкое презрение к окружающим — в общем, чувства, присущие всякой счастливой женщине.

— Ох, боже мой, боже мой...— бормочет Вера Павловна, и мне приятно, что доктор наук так по-старушечьи вздыхает и жалеет меня.

Еще я занималась тем, что третий день наблюдала за девушкой, сидевшей у окна на втором этаже. Она читала. У нее были бледное, веснушчатое лицо и изумительные, редкого медного оттенка волосы. Они выплескивались из открытого окна, а ветер ласкал и промывал ее волосы в теплом дыхании зрелой осени...

Почему-то мне казалось, что девушка очень больна, должно быть, она и в самом деле была серьезно больна: я никогда не видела ее во дворе. А ослепительные волосы, вырывавшиеся из окна, как флаг, почему-то вызывали у меня одно воспоминание прошлого года.

Максим тогда встречался с какой-то фифой из консерватории и по этому случаю на целых два месяца проникся к классической музыке трогательной любовью. Однажды он достал билеты в филармонию на симфонию Онеггера. Но с фифой в этот день произошла загвоздка, а может быть, началась пора умирания большой любви — не знаю, не помню, но, чтобы билеты не пропали, Макс потащил с собой меня.

Симфония, как мне показалось, называлась забавно: «Симфония трех «ре» и, наверное, поэтому представлялась мне веселой и увлекательной штукой, чем-то вроде «Сказок братьев Гримм».

Позже, когда я сидела в обитом красным бархатом кресле и очухивалась, было поздно. Взлетали вверх обнаженные руки скрипачек с длинными смычками, и казалось, это метались ослепительные языки пламени из черных факелов платьев.

Я сидела и думала, что добром это кончиться не может, должно произойти что-то ужасное, трагическое, что вот прервется музыка, и дирижер, похожий на грачонка в черном фраке, повернет к публике скорбное длинноносое лицо и скажет: «Друзья! Только что скончался дорогой всем нам...» — и назовет известное и близкое имя какого-то знаменитого человека. Так казалось.

Но вопреки моим опасениям все прошло благополучно, оркестранты молча выслушали аплодисменты и покинули сцену, а мы долго простояли в гардеробе в очереди за пальто...

И вот эту историю я вспоминала, глядя на бледную, веснушчатую девушку в окне второго этажа, и мне очень хотелось, чтобы вскоре за ней пришла полная рыжая женщина, или худая рыжая женщина — ее мать (только обязательно рыжая, такой она мне представлялась) и чтобы девушка прошла с ней по двору не в больничном халате, а в каком-нибудь зеленом платье или красном брючном костюме. Чтобы она задержалась в проходной и сказала сторожу: «До свидания, дядя Миша»,— а он бы ей ответил: «Будь здорова, не болей больше».

И чтобы она никогда сюда не возвращалась...

По утрам приходил Максим, а вечерами, после работы, отец.

— Дневную вахту надо было поручить Наталье Сергеевне,— как-то сказала я Максу.

— Ты стала невыносимой,— отозвался он.— Ты просто человек, с которым трудно контактировать. И с каждым днем твой характер становится все тяжелее и тяжелее. Что дальше будет, ума не приложу!

— Ничего дальше не будет,— холодно успокоила я его.— Это все скоро кончится, неужели ты не понимаешь?

— Паршивка, Нинка! — крикнул он, как в детстве.— Что ты с нами делаешь! Посмотри, во что отец превратился, он тенью ходит. Наталью Сергеевну не узнать, так осунулась.

— Для этого ей, должно быть, пришлось сесть на диету.

— Послушай...— Он нахмурился и замолчал, сбивая пепел с сигареты. Он устал спорить со мной.

— Ты же сам ее не любишь, Максимка!

— С чего ты это взяла? — угрюмо спросил он.

— Ну я тебе, слава богу, сестра или нет? Ты ее недолюбливаешь за то, что она заняла мамино место.

— Никогда ни один человек не сможет занять место другого. И тем более это касается женщин. Когда погибает любимая женщина, вместе с ней гибнет целый мир, даже не мир — целая эпоха в жизни человека; молодость, прожитая с ней, намерения, мысли, что были с нею связаны, все гибнет вместе с ее жестами, голосом, мимикой, походкой. Каково же человеку, когда то, что могло быть в старости приятным воспоминанием, превращается в кошмар, в сплошную ноющую рану? Разве может другая женщина, пусть даже по-своему привычная и близкая, закрыть собой эту рану? По-моему, нет...

— А ты теперь у них обедаешь, да, Макс? Невкусно она готовит?

— Нормально готовит,— пробурчал он.— И еще вот что: разве она виновата в том, что мамы нет, что отец был один да и у нее жизнь не устроена? Неужели все это так трудно понять и неужели за это надо ненавидеть человека?

— Я не ненавижу ее,— возразила я.— Если б я ее ненавидела, я бы ее убила, я бы разбила все окна в ее доме, я бы изорвала в клочья ее синее пальто. Я все понимаю. Но любить-то я не обязана, правда?

Максим смотрел на меня каким-то взрослым взглядом. Карман его пиджака оттопыривался от пачки сигарет, под глазами лежали круги... Наверное, он сдавал очередной курсовой проект...

— Правда...— сказал он и продолжал смотреть на меня задумчивым взрослым взглядом, как бы решая, говорить со мной, как с человеком, или махнуть на меня рукой.

— Это, наверное, потому, что ты еще ребенок,— наконец сказал он.— Ну, конечно, это потому, что ты не можешь понять, что это такое для мужчины — одинокие ночи. А это страшная штука — пять лет одиноких ночей...

— А мы? — спросила я, все еще не веря, что Макс так серьезно говорит со мной.

— Мы — дети. А нужен близкий человек, женщина, с которой можно пошептаться на подушке, голова к голове, и понервничать, что на работе неприятности, и встать к окну в трусах — покурить. А он дождется, пока мы уснем, и уходит в свою мастерскую, а там пусто, только семейный альбом с фотографиями, который он просматривал каждый вечер. Ты знаешь, что он каждый вечер просматривал наш альбом?

— Нет...— сказала я тихо.

Макс достал из пачки сигарету и закурил. За двадцать минут это была третья.

— Ты ужасно много куришь,— машинально заметила я, как обычно.

— Да,— сказал он.— Надо завязывать, а то скоро все потроха закоптятся.

Это был наш обычный диалог «о вреде курения».

— В самом деле скверная привычка,— подумав, сказал Макс.— Ты, наверное, оттого такая больная, что мама много курила. Одну сигарету за другой. Я помню, даже — тебя ждала, а все равно курила... Маме было совсем нелегко...— медленно проговорил он, почему-то с трудом выговаривая каждое слово.— Ведь она, знаешь, Нинок, в последние годы разлюбила отца. Так получилось.

— Как это?! — шепотом переспросила я и, сразу испугавшись, что Макс разозлится на меня за тупость, схватила его за рукав пиджака и запричитала:

— Ой, Макся, ну, продолжай, пожалуйста, я все пойму, честное слово!

— Она любила другого человека.

— Нет. Не может этого быть,—сказала я.—Почему же она не ушла?

Он горько усмехнулся.

— А то ты не понимаешь... Эти грузинские гордецы... Только чтобы никто не подумал, что в семье неладно. И потом, дети... И, наверное, чувство вины перед отцом, хотя и не была виновата перед ним. И эта ее категоричность, помнишь: «Главное — называть белое белым, а черное — черным». Она бы назвала себя предателем, если бы ушла.

— Отец не знал, — задумчиво сказала я.— Отец, конечно, не знал. Он бы умер от горя.

— Знаешь, я сейчас много думаю об этом, и мне кажется, что она нарочно тебя придумала, чтобы вышибить из себя любовь. И вообще, если бы не самолет, я бы подумал, что мама сама так решила.

— Откуда ты все узнал?

— Я и раньше догадывался, еще когда она была жива. А потом нашел в ее записной книжке два письма...

Я не спросила, что было в этих письмах, и Максим не стал рассказывать. Слишком трепетно мы относились к маме, чтобы обсуждать ее любовь. Но сейчас, вдруг, я представила, как неизвестный нам мужчина узнает о маминой смерти. Этот момент. Какие у него были руки в этот момент? Что он делал? Отцу было легче. Он бежал по летному полю и кричал.

А что делал этот человек для того, чтобы скрыть от людей свою боль?

— Проводи меня до проходной,— вставая, сказал Макс.

— Подожди, Максимка, сядь. Что-то у меня все занемело внутри.

Он с силой провел по лицу ладонью, как будто хотел отшвырнуть в сторону свое уставшее лицо и вместе с ним мысли.

— Скверно, что я все рассказал тебе,— проговорил он.— Но я должен был это сделать. Каждую ночь я думал: «Завтра расскажу... Завтра обязательно расскажу». Я это сделал — для чего? Понимаешь, у тебя возраст сейчас... обвиняющий. Я это по себе знаю, у меня самого так было. Да только после маминой смерти как рукой сняло. Так вот, зачем я все это рассказал? Чтобы ты милосердней была. Не только к отцу — вообще к людям. Потому что без этого, я думаю, настоящей жизни не получится. Чтобы сердце у тебя поумнело... А теперь проводи меня.

— Ты что-то плохо выглядишь, Макся. Ты курсовой проект пишешь?

— С вами попроектируешь...— хмуро буркнул он.

Сегодня я просидела на скамейке дольше обычного, потом медленно поднялась на третий этаж, к себе

Проходя мимо седьмой палаты, я заглянула туда и сказала маленькой, худой женщине, у которой не только руки, но даже лицо казалось натруженным:

— Петрова, к вам сын пришел.

— Ой, спасибо, дочка! — Она стала суетиться, выкладывать какие-то пакеты из тумбочки.—Ты меня так обрадовала, доча!

Я подумала: почему эта женщина называет дочерью еле знакомую девушку? Может быть, потому, что у нее четверо сыновей и она всю свою жизнь мечтала иметь дочь? А может быть, она просто очень добрая женщина?

В палате я отобрала из сетки несколько мягких яблок и положила на тумбочку Веры Павловны, хотя для ее оставшихся зубов и эта пища была немыслимой.

Сухо щелкнул выключатель, и заоконное пространство из-за отразившихся в окне двух наших коек и тумбочек мгновенно стало больничным и неспокойным. А днем оно было таким по-осеннему прозрачным, ласковым...

Я молча лежала с закрытыми глазами и представляла, как папа листает наш альбом с фотографиями. Я мысленно переворачивала страницы вместе с ним.

Вот Сочи. Меня еще нет на свете. Мама стоит на берегу, на ней очень открытый купальник. На плечах у нее сидит маленький Максимка, голенький, его толстые, по-детски еще кривые ножки свешиваются маме на грудь. Максимке — два года, маме — девятнадцать. Они смеются.

Как это сказал Макс? «Она нарочно тебя придумала, чтобы вышибить из себя эту любовь»? Ну да, понимаю: думала — родится ребенок, хлопоты, переживания, о том и подумать будет некогда... Мосты сжигала...

Значит, все это — море, чайки, маленький Максимка, любовь к отцу — было до меня? А я для мамы — горький ребенок!

Нет, нет, все не так... Вот другая фотография. Снимал Максим, и вышло плохо, размыто. Меня собирают в детский сад. Я ору благим матом, запрокинув голову так, что лица не видно. Мама натягивает мне правый ботинок, папа — левый. Они смеются, и руки их соприкасаются.

Да, да, руки их соприкасаются... Максим просто напутал! Не могло такого быть, и письма эти — ерунда.

Я не заметила, как в палату пришла Вера Павловна.

Она долго сидела на койке, неподвижно смотря в темное пространство за окном, заполненное больницей, потом медленно и отчетливо сказала, не глядя на меня:

— Как смерть никого не щадит!

У меня под горлом что-то сорвалось и, обливая все внутри холодом, медленно поползло вниз. У меня всегда так бывает, когда я чувствую, что сейчас сообщат о чьей-то смерти.

— Кто?—коротко спросила я, отбрасывая журнал.

— Лена умерла,— сказала Вера Павловна, строго и горько взглянув на меня.

— Какая Лена?! — закричала я, беспомощно встряхнув пустыми кистями рук и пряча их между коленями. Но я уже знала какая.

— Бледная, рыженькая девушка из третьего корпуса. Помнишь, у окна все сидела и читала. С длинными волосами...

В комнате было тихо, так тихо, что различались шаги в дальнем конце коридора.

— Ну, не надо плакать...— сказала она.— Мне тоже тяжело. Сколько раз сталкивалась, а все не привыкнуть... У нее сердце не выдержало, так на операционном столе и скончалась.

— А у меня крепкое сердце, правда, Вера Павловна?

— Не думай об этом, не надо тебе об этом думать. И перестань плакать, сколько можно!

— У меня папа недавно женился на хорошей женщине, Вера Павловна, знаете... А я не желаю с ней разговаривать, извожу отца, брата, всем треплю нервы и веду себя, как последнее хамье. Это ужасно, да?

— Да уж что хорошего...— вздохнула она. Потом разобрала постель и вдруг, обернувшись ко мне, по-детски спросила: — Свет не будем гасить, да? Страшно...

У меня даже ноги ослабели, когда я увидела его. Он возник из мира здоровых людей и был его воплощением. Он стоял с авоськой за решетчатой оградой, и железный прут вертикально пересекал его лицо. Не улыбаясь, он молча смотрел, как я подходила к нему — к нему, такому красивому! — в этом диком больничном халате.

— Вот и свиделись...— сказал он тоном человека, просидевшего на рудниках тридцать лет и случайно заставшего в живых друга детства.

— Я тебя вижу второй раз в жизни,— сказала я.— Это же можно с ума сойти. Ты у Максима узнал, где я? Он тебя здорово бил?

— Здорово,— сказал он и засмеялся.— Ну, улыбнись, я хочу поцеловать тебя в улыбку.

— Забор мешает,— заметила я.— Пойдем, я тебе покажу лаз. Как ты умудрился в тихий час прийти?

— У меня часы отчаянно спешат,— оправдывался он.— Если б я их время от времени не ставил на место, я думаю, они давно отсчитали бы двадцатый век и принялись за двадцать первый.

Мы шли по обе стороны забора, и я мучительно, всем телом чувствовала на себе ужасный халат. В нем у меня не было ни груди, ни талии, а все только подразумевалось.

Я шла и, не оглядывая себя, чувствовала, что у ворота из-под халата кокетливо выглядывают обтрепанные завязочки рубашки. Но мучительней всего чувствовалось задыхающееся, заикающееся сердце.

— Я тебя вижу второй раз в жизни! — поразившись, сказала я, забыв, что эта мысль уже удивляла меня.

— А с братцем вы великолепная пара сапог,— сказал он.— Сначала говорил, что ты на занятиях, а сегодня утром накричал на меня, что человек уже три недели валяется в больнице и никому до этого нет дела...

Моя скамеечка была занята юным, тоненьким папой. Он сидел, вытянув далеко вперед джинсовые ноги, похожие на складную металлическую линейку, и, задумчиво пощипывая усики, казалось, безучастно смотрел на резвящегося растрепанного мальчугана. Мальчишка был просто прелесть, не больше двух лет, очень забавный. Увидев нас, он подбежал и, остановившись совсем близко, принялся разглядывать незнакомцев испуганно, веселыми глазами. Борис достал из сетки апельсин и протянул мальчугану.

— Нет, нет, спасибо! — встревоженно воскликнул папа, поднимаясь со скамейки.— Цитрусовые нам нельзя, диатез.

И вдруг стало понятно, что это очень хороший папа. Из тех, которые каторжники.

— Как зовут вашего сыночка? — спросила я, чтобы доставить ему удовольствие.

— Георгий,— горделиво ответил он, и это звучало как «Гьёрги».—Гогия,—пояснил он, и это у него получалось как «Гогья».

Они пошли к забору, туда, где был лаз, и я глядела им вслед и улыбалась.

— Гулять сюда приходят,— сказал Борис.— Такой замечательный парк!

— Они грузины,— продолжая радостно улыбаться, сказала я.— Ты понял? Они грузины. Мне так приятно!

— Если б я знал, что это тебе так приятно, я бы сегодня в справочном узнал, сколько грузин проживает в нашем городе.— Он недоуменно взглянул на меня.

— Ты ничего не понимаешь! — сказала я.— Ничего. Ты зачем сюда пришел — проведать меня? Ну, тогда давай поговорим.

— Давай поговорим! — согласился он.

И мы замолчали.

Я не могла до конца осмыслить то, что он пришел сюда и сидит со мной на скамейке. Мне мерещилось, что это Максим умолил его приехать. Чуть ли не в ногах валялся. Хотя я прекрасно понимала, что никогда в жизни ничего подобного Максим не сделает. Или, может быть, он так подумал: «Бедная, смертельно больная девочка... Подъеду, подарю тридцать минут счастья...»

Нет, это тоже исключено. Ведь он не знает, что я влюблена в него вусмерть.

Так вы влюблены, мадемуазель?! Похоже, что я наконец призналась себе в этом. Да не все ли равно! Жить, может быть, осталось шиш на постном масле. Хоть перед собой не юродствуй...

— Я понимаю, ты в затруднительном положении. С одной стороны, надо бы вроде о здоровье спросить, а с другой стороны, неловко напоминать человеку о его болезни. И вообще это ужасная штука — посещение тяжелобольных. Ты его жалеешь и делаешь участливое лицо, а сам думаешь о том, как бы не проспать завтра на рыбалку. А больной не делает никакого лица, на нем вообще нет лица, он ненавидит тебя и думает: «Ну, давай спрашивай меня о здоровье, бодрячок! С-скотина...» А иногда ненависть переносится на совершенно неожиданные предметы. Видишь витрину того фотоателье за оградой? Я ее ненавижу. Там поголовно сняты все идиоты. Потому что не может умный человек послушно принимать позы, придуманные бездарным фотографом!

— Это нехороший юмор,— сказал он, серьезно смотря на меня.— Тяжелый.

— Это вообще не юмор,— возразила я.— Чувство юмора за последнее время у меня полностью атрофировалось. Отбито, как печенка в ужасной пьяной драке. А то, о чем я говорила,— это правда жизни. Точно так же об этом написал бы Чехов. Ты любишь Чехова?

— Очень,— веско сказал он.

— Слава богу! Я презираю тех, кто к нему равнодушен. Просто за людей их не считаю, каких бы успехов в личной и общественной жизни они ни достигли. Я всю жизнь читаю письма Чехова, у нас дома есть его собрание сочинений в двенадцати томах Многие его письма я знаю наизусть. Особенно к Лике Мизиновой. Он ей пишет: «Хамски почтительно целую Вашу коробочку с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас...» И еще так: «Кукуруза души моей!» Обязательно нужно читать примечания к его письмам. Там объясняется, кто такие были Линтварёвы, кто такая Астрономка. Только никогда я не заглядываю в примечание к письму восемьсот восемнадцатому Там всего одна сноска. Знаешь какая?

— Какая? — тихо спросил он.

— Всего одна: «Последнее письмо А. П. Чехова». Мы помолчали.

— Я сегодня ужасно много болтаю, как в прошлый раз. А ты очень молчалив, потому что не знаешь, о чем можно со мной говорить, а о чем нельзя. Я это вижу и выручаю тебя — говорю, говорю. Но сейчас я замолчу, и тебе станет страшно, и придется что-то сказать. Поэтому я предупреждаю: можно говорить обо всем. И хоть я панически боюсь смерти, даже о смерти.

И тут он не выдержал.

— Почему?! — закричал он.— Ну почему я должен говорить о смерти! И вообще, что это за безобразие! Я еду на свидание к юной девушке, перед этим готовлюсь, наглаживаюсь, бреюсь, черт возьми, так, что в меня глядеться можно, стою час в очереди за апельсинами! И вот вместо девочки меня встречает нудная старая баба и вот уже полчаса ведет заупокойные беседы. В боку у нее закололо — подумаешь! Вот у меня уже третью неделю насморк не проходит!

Он выхватил из кармана наглаженный платок и стал отчаянно громко в него сморкаться. Но у него ничего не получилось, потому что он был абсолютно, восхитительно здоров...

— А ведь на носу зима,—сказала я.— Сезон носовых платков. Что ты будешь делать зимой со своим насморком?

— А вот что: мы кошмарно напьемся, третьим возьмем твоего ненормального братца, будем шататься в обнимку по улицам и орать песни страшными голосами...

— И пусть идет снег.

— Пусть,— согласился он.

— Изо рта у нас будет валить пар, и все вместе мы будем похожи на огнедышащего дракона. О трех головах.

— Воображение — класс! — сказал он.

— Тебе сегодня скучно со мной?

— А разве ты всегда должна развлекать меня? Ты ведь не гетера и не гейша. Ты просто не сможешь быть всегда ярким дивертисментом.

— Понимаешь,— сказала я,— все, оказывается, ужасно сложно. Ты только не кричи на меня: я сейчас все объясню. Я очень много думаю все эти дни, так много, что мне будет даже досадно умереть, не записав эти мысли. Если я отсюда выйду, я напишу книгу и сразу стану великим писателем. Нет, я опять болтаю чушь, и ты ничего не понимаешь!.. Дело вот в чем: на днях умерла Лена. Ты помолчи, не перебивай, ты не знаешь. Лена. Белоснежная девушка, а волосы алые, как флаг... Умерла после удачной операции, ни с того ни с сего, с бухты-барахты. Что-то с сердцем случилось. А пять лет назад погибла моя мама. Еще нелепей и страшней. И еще и еще... Теперь ответь мне: к чему вся эта возня со мной? Ведь я совершенно безнадежна. К чему замечательный Макар Илларионович будет делать сложную операцию обреченному человеку? Для чего? Чтобы я прожила еще год, три, пять лет? Но ведь даже если я останусь на подольше, мне все равно нельзя будет иметь детей! А дети — это главный смысл во всем! Хоть с этим ты согласен?

— В том, что главный смысл, согласен. А в остальном. .— Он вздохнул и замолчал. И я подумала, что он больше ничего не скажет на эту тему, не может быть, чтобы Макс его не проинструктировал.— У меня очень старенькая бабуля,— неожиданно твердо и громко сказал он так, что я даже сначала не сообразила, в чем дело, и подумала, что это он мне хочет рассказать анекдот.— Такая старенькая, что каждый день, возвращаясь с работы, я боюсь, что не она откроет мне дверь,— продолжал он, не глядя на меня. И я поняла, что анекдота не будет.— Они с дедом любили друг друга с пятнадцати лет... Потом она пять лет ждала его с войны. Дождалась... Наконец, когда им исполнилось по двадцать два года, они поженились. И прожили семь месяцев. День в день. Ты взрослая девочка, тебе не надо объяснять, что значит ждать семь лет, а прожить с мужем семь месяцев...

Он долго молчал, прежде чем опять заговорить...

— Это был очередной налет банды петлюровцев. Деда повесили на глазах у молодой жены, а ей самой обрубили топором пальцы на обеих руках. Все десять пальцев, до второй фаланги... Но не до конца обрубили,— продолжал он, по-прежнему не глядя на меня,— пальцы потом срослись. Ужасно, правда, срослись, так, что глядеть страшно, но все же какие-никакие, а руки... А в тот момент она, обезумев от боли и горя, волоча болтающиеся, как плети, руки с обрубленными пальцами, оставляя за собой кровавую дорогу, бежала на обрыв, чтобы броситься вниз, в реку. И когда она добежала, то вдруг почувствовала, как отчаянно бьется в животе

РЕМОНТ ЧАСОВ

ребенок, словно понимая, что она собирается сотворить, словно умоляя о жизни... Так она осталась жить, а через три месяца на свет появился мой отец, которого она назвала именем деда...

Он рассказывал это очень просто и твердо. Както повествовательно, как сказку рассказывал: «Жилибыли...» И от этого делалось еще страшней, и хотелось сжимать кулаки и плакать оттого, что это было на свете...

— Я не знаю, зачем все это тебе рассказываю,— виновато сказал он.— Я приготовил положительные эмоции, целый вагон хороших анекдотов. Но когда я тебя увидел, то понял, что анекдоты не нужны. Поэтому рассказываю что-то не то...

— Именно то! — нетерпеливо перебила я его.— Именно, именно то!

— Ну, тогда слушай дальше,— сказал он и переложил сетку с колен на скамейку. Апельсины свободно раскатились, и один даже упал со скамейки, застряв в сетке и оттягивая ее, как баскетбольный мяч.— У бабули не осталось ни одной дедовской фотографии. Так уж получилось. Люди редко в то время фотографировались, и потом, она тотчас же уехала из того городка, где жила с дедом. Я не думаю, чтобы она забыла его лицо. Ведь мой отец поразительно похож на деда, а я, говорят, еще больше. Нет, конечно же, она прекрасно помнила его лицо, хотя с того дня прошло пятьдесят лет... И вот—это было совсем недавно, месяца три назад—какие-то дальние родственники из Киева прислали вдруг фотографию деда. Они, наверное, копались в своем альбоме и наткнулись на нее. Сначала не могли вспомнить, кто это, а когда догадались, решили прислать ее нам. И то правда — зачем валяться чужой фотографии в семейном альбоме... Ты знаешь, я никогда еще не видел таких лиц у людей, какое было у бабушки, когда она распечатала письмо с фотографией. Знаешь, это, наверное, совсем непегко — увидеть лицо любимого, которого похоронила пятьдесят лет назад. Она не сказала ни слова и весь день провозилась на кухне. Но ночью... У нас тесновато, и мы с бабушкой спим в одной комнате. И я слушал, как всю ночь она проговорила с дедом. Плакала и говорила: «Ну, как я тебе нравлюсь? Посмотри, на что я стала похожа. Ты видишь эти руки? Что же это творится, боже мой, что твой младший внук на год старше тебя?» Потом, утром, она мне призналась: «Когда я разорвала конверт и оттуда выпала его фотография, у меня помутилось в голове, и я, знаешь, на самую маленькую секунду подумала, что мне двадцать два года, а он уехал на ярмарку, в Дунаевцы и пишет мне оттуда письмо. А его смерть и вся моя жизнь — это просто страшный сон, который снился прошлой ночью...» Больше ничего интересного я не расскажу. Ешь апельсин, не напрасно же я за ними в очереди стоял!

— Мне эта жизнь кажется удивительно прозрачной и ясной...— задумчиво проговорила я.— Можно смотреть на мир сквозь историю этой скорбной жизни и отсеивать добро от зла...

— Я хочу, чтобы ты съела апельсин на моих глазах. Вот смотри, я его почистил... Кто это идет там, в конце аллеи?

— Это Макар Илларионович! — испугалась я. — Сейчас мне влетит за то, что я в тихий час здесь болтаюсь!

— Что за имя, боже! — сказал он.— Карл у Клары украл кораллы.

Но Макар Илларионович даже не остановился. Он стремительно прошел мимо нас, не взглянув на меня, и скупо обронил:

— Долго не сиди. Сыро...— Его удаляющаяся четырехугольная спина в белом халате казалась мне оплотом надежды и веры.

— Кто тебе будет делать операцию, этот Фантомас? — спросил Борис, глядя вслед Макару Илларионовичу.— Что у него с шеей?

Я рассмеялась. Действительно, сходство хирурга с персонажем французского фильма было разительно.

— Это фронтовое ранение,— сказала я.— Он мне рассказывал когда-то, очень давно, девять лет назад, и я уже смутно помню эту историю... Наши форсировали реку, а на том берегу были немцы и держали нас под непрерывным огнем. И в общем, кому-то из наших нужно было переплыть реку и что-то узнать или сделать — я в военных делах ничего не понимаю. Но это задание было равносильно смертному приговору — настолько опасной казалась переправа... И тогда командир Макара Илларионовича сказал: «Ребята, нужно плыть. Того, кто решится, представлю к ордену...» И Макар бросился в воду. Вот тогда он и получил это ранение в шею. Но все-таки доплыл и что полагалось сделал. А вот голову повернуть — ни в какую!

— А орден? — заинтересовался Борис.

— Командира в том бою убило... Я спросила у Макара Илларионовича: вот когда он плыл, о чем думал? А он говорит: «Вот представь себе, думал, как по селу перед девчатами пройдусь — сапоги начищены, гимнастерка новенькая, а на груди — орден! Когда ранило, тогда уже твердил себе: «Выплыть... выплыть...» Насчет девчат он, конечно, пошутил. Он вообще шутник. Первую операцию он мне сделал, когда я в первый класс пошла. И за день до нее говорил: «Представляешь, будет у вас когда-нибудь урок анатомии, на котором изучают человечьи потроха. А ты встанешь и скажешь: «Видали вы человека с одной почкой?» Вот смеху-то будет!» Но та операция была ерундой по сравнению с предстоящей... Тогда можно было шутить...

Борис ничего не ответил, и мы еще посидели так тихонько, греясь на скудном осеннем солнышке.

Я вспомнила, что сейчас должен прийти Максим, и представила, как я буду сидеть между ними — такими красивыми парнями. И как это будет выглядеть.

— Ну ладно...— сказала я ему.— Посидел, и будет. Проваливай...

Я проводила его до проходной, чуть отставая и пытаясь запомнить его плечо и щеку — то, что мне было видно, это на всякий случай, если он больше не придет.

«Случись что-нибудь! — мысленно молила я то обстоятельство, которое еще не имело названия в моем воображении, но которое должно было расставить все по своим полкам.— Случись что-нибудь!»

И случилось. Как тогда, у подъезда.

— Ты знаешь! — вдруг остановившись, воскликнул он.— Совсем забыл тебе сказать! Я ведь сейчас встретил в автобусе ту девушку, из театра!

— Вот так удача,— сказала я страшным голосом, забыв поставить восклицательный знак в конце предложения.— Надеюсь, на этот раз ты не упустил случая...

— Ни за что бы не упустил! Я бы ехал за ней до самой конечной остановки, если бы...— Он хитро посмотрел на меня,— ...если бы не торопился так к тебе...

...Ночью меня разбудило ощущение резкой перемены во всем окружающем мире. Я поднялась и подошла к окну.

Сильный ливень избивал и без того голые, беззащитные деревья. По всему стонущему от ветра парку шла жестокая расправа над теплом и безмятежной ясностью самонадеянной осени.

Я отошла от окна и легла, заложив руки за голову. По противоположной стене до рассвета метались, прося пощады, ошалелые тени деревьев. Все это было похоже на позор разгромленной армии.

А под утро за окном медленно поплыл снег. Он падал бесшумно и устало, как будто не являлся впервые, а возвращался на эту землю. Возвращался мудрый и умиротворенный, пройдя долгий путь, неся в себе некую разгадку и успокоение людям...

Сквозь сон я слышала, как пробуждалась клиника, хлопали двери в умывальной, шаркали больничные тапочки. Потом открылась дверь в нашу палату, быстро вошел Макар Илларионович. Он подошел к моей койке и положил руку мне на плечо. Этот жест был властным и успокаивающим одновременно. И я все поняла.

— Макар Илларионович, что? Уже? Уже сейчас? Неужели сейчас?! — Губы у меня одеревенели, и я не могла ими шевелить.

— Ты у нас умница,— серьезно сказал он.— Ты должна нам помочь. Ты же умница!

— Вы думаете, я могущественная, как Микки Маус?—пытаясь улыбнуться дрожащими губами, спросила я.

— Микки Маус тебе в подметки не годится,— так же серьезно сказал он.— Можешь взять его к себе в адъютанты.

Выходя из палаты, он остановился в дверях.

— Ну, отдохни еще секунду. Полежи, подумай о чем-нибудь веселом.

Как только за ним закрылась дверь, я схватила карандаш и, вырвав из ученической тетради листок, быстро написала: «Папа, прости меня! Я всех вас очень люблю!»

И тут я взглянула в окно. И увидела, как на зеленых санках, в рыжем меховом комбинезоне мчит по чистейшему снегу повелитель всего живого на земле Гогия, а запряженный в сани счастливый усатый родитель делает громадные скачки, отчего его нескончаемые ноги еще больше похожи на складную металлическую линейку.

И я скомкала этот жалкий листок бумаги и швырнула его в сторону.

Внезапно я вспомнила бабушку Бориса и подумала: помнит ли она, спустя пятьдесят лет, живое прикосновение своего юного мужа? Помнят ли ее руки прикосновение к его рукам? Нет, наверное. Наше тело забывчиво.

Но оно живо—его объятие! Оно ходит по земле в образах сына и внука, еще больше похожего на деда, чем сын! Жива моя мама. Потому что я жива. И буду жить долго-долго.

«Да,— подумала я,— вот это главное: люди ходят по земле. Одни и те же люди, только с поправкой на время и обстоятельства. И если понять это и крепко запомнить на всю жизнь, то не будет на земле ни смерти, ни страха...»

«А теперь я полежу еще секунду и подумаю о чем-нибудь веселом,— сказала я себе.— О чем же? Ну, хотя бы о том, как завтра или послезавтра придет Борис и напишет мне записку, какой-нибудь каламбур вроде: «Оперативно здесь делают операции!» А я в ответ на том же листке попрошу медсестру написать крупно, латинскими буквами: «Po blatu...»

г. Ташкент.

Мурман Джгубурия

СТИХИ

✪

Солнце, начав восхождение утром,
Перевалило и скрылось за Урту [1],
А в отдаленье — за домом и садом,
Где рододендрон с терновником рядом,
Птица вечерняя пару искала:
Вот позвала она и помолчала,
Крикнула снова, прислушалась чутко —
Отклика нет...
Все длинней промежутки,
Паузы эти — от зова до зова,
И все тревожней: а крикнет ли снова!

Инцира

Вот я — Инцира, пляшущая река,
Пену белую ношу я вместо платка,
Я пляшу меж своих берегов;

Мне до устья еще далеко-далеко,
И, поводья отбросив, лечу я легко
И сверкаю лазурью зрачков.

А за мною Сванетии снежный покров,
Гор огромность и буйная зелень лесов,
Я сквозь темень оврагов лечу,

А за мною — столетий таких бурелом,
Что порою задумаюсь я о былом,
Заробею и вдруг замолчу.

То охотник выходит на мой бережок,
То порой на другой — выбегает цветок,
Заглядевшийся в водную гладь,

На закате ко мне припадают стада —
Пьют и пьют меня, и хворостиной тогда
Пастухам их приходится гнать.

А ночами гляжу на мерцание звезд,
При луне серебро своих девичьих кос
Я расчесываю до зари,

Чтобы утром проснуться навстречу лучу
И воскликнуть: «Веселое сердце хочу
Подарить человеку — бери!»

Перевел с грузинского
Л. ТЕМИН

[1] Название горы в Западной Грузии.

Иван Драч

Тацанки

Где-то был я и с кем-то знался,
То темнел, то светлел лицом,
Ключевой водой обливался,
Молодым глядел гордецом.
Пролетали будни и праздники,
Города, разлуки, дела...
А в душе оставались Тáцанки —
Имя маленького села.
Как там воздух травою пахнет,
Как там в окнах дрожит рассвет,
Как идет молодица в плахте,
Как супруг ей глядит вослед!
Это мне они из криницы
Дали свежей хмельной воды,
А две дочки их, две синицы,
Щебетали на все лады.
Как мне хочется, чтобы аист,
Мой лелека, мой добрый Лель,
Неба белым крылом касаясь,
Мою душу кружил, как хмель!
Я все броды и все чащобы,
Словно в отрочестве, пройду,
Лишь еще бы побыть, еще бы
Мне в тех Тáцанках, в том саду.
Я не жил там — а на рассвете
Просто воду однажды пил,
Просто аиста заприметил,
Просто крикнул бежавшим детям,
А о чем — уж теперь забыл.
Пусть же светится имя — Тáцанки
Во всей славе и простоте:
Эти вербы, плетни и мазанки
С белым аистом на шесте!

Дерзкая запись в альбом

О, как ступали в свои двадцать лет!
Какие брови мимо проносили!
Как пальчиком таинственно грозили!
Какой чудак не ринулся б вослед,
Лишь поманила бы одна такая
Глазами, что созвездиям сродни!
Весь век бы прожил, им лишь потакая.
Какие женщины!.. А где теперь они!
Безвестные пропали Беатриче,
Краса былая сгинула в веках,
И превратились в камень их обличья,
И пальчики рассыпались, как прах.
Безвестные пропали Лауретты,
А нынешние рвутся на экран,
Красы былой распознают секреты
И так упорно выгибают стан...
А сколько безымянных, юных, ярких
Исчезнет после всех измен и свар
Подобно тем, что жили без Петрарки
И чьих на Данте не хватило чар!

✪

Уже не сон, а сон-трава
Мне шепчет древние слова,
И нежным чадом, чудом чистым,
Прозрачным пламенем лучистым
Сирень затеплилась едва.

Уже не сон... Живые котики
Явились из страны экзотики,
Сидят на вербе и отряхиваются,
Мурлычут и на пчел засматриваются,
Пушистые разинув ротики.

Уже не сон — уже весна,
Для сердца стала грудь тесна.
В поля из дома убегаю
И в небо сердце выпускаю —
Лишь жаворонком даль красна!

Жеребенок

Полюбила жеребенка молния.
Она — молния, а он — жеребенок.

У него — грива из шелка черного,
У нее — груди из огня белого.

У нее в глазах — безумье,
У него в глазах — тревога.

Не она ли жеребенку
Так поранила копытца!

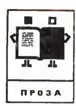
Бегали под небесами,
Целовались голосами.

— Так тебя я полюбила,
Что нечаянно убила.

У него горло громом укутано,
У него яблоки на боку белеют.

У него — на сердце цокот.
У нее — игра да хохот.

Перевел с украинского
Л. СМИРНОВ.



Михаил ДЫМОВ

ОТКРЫТАЯ СТРАНА

(Записки девятиклассника)

ПОВЕСТЬ

Меня сослали исправлять свою трудовую биографию в РМЦ. На участок сантехников, которые устанавливают по всему заводу батареи, ремонтируют краны, душ, меняют в туалетах смывные бачки и унитазы, а также чистят до блеска канализацию.

— Нужная профессия! — заявил инспектор, разглядывая свои ногти, словно видел их впервые.

Нужная, по-видимому, от слова «нужник». Я, конечно, хотел высказаться, но, вспомнив о магазине, решил промолчать. И еще, пусть не думает, что уязвил меня.

РМЦ в переводе обозначает ремонтно-механический цех. Помимо нашего сантехнического участка, здесь еще три: ремонтный, токарный и монтажный. В цехе всегда стоит резкий запах машинного масла, керосина, карбида; из-за дыма от сварки с непривычки щиплет глаза. Люди ходят, как трубочисты: в темных спецодеждах, с измазанными лицами и такими черными руками, будто носят кожаные перчатки. У меня создалось впечатление, что никто здесь не боится этой грязи. А даже наоборот — будто гордятся ею.

На ремонтном участке в беспорядке стоят станки, завезенные из других цехов. Некоторые такие огромные, что непонятно, как их затащили сюда. Станки раскурочены по всем правилам детской любознательности, и похожи они теперь скорее на скелеты. Все детали разбросаны на верстаках, мокнут в больших ваннах с керосином, навалены на полу. Интересно, как люди могут разобраться в этих железках и не напутать — какое-нибудь колесо от токарного станка присобачить к штамповочному прессу. Рабочие увлеченно что-то подгоняют, колотят, спиливают. А один взобрался на самый верх огромного станка, под потолок, привязав себя за крюк крана, и что-то там привинчивает.

За глухими железными дверьми находился мой «ассенизаторский» участок. Когда я появился, некоторые члены ассенизаторской команды были здесь. Кто сидел, кто стоял у своего верстака. Все внимательно слушали невысокого худого человека в синем халате и огромном, как поднос, берете. Хозяин берета медленно прохаживался перед рабочими и негромко, с озабоченным видом говорил:

— Задание необходимо выполнить. Иначе не видать нам первого места, премий.

Он повернулся к верстаку, у которого сидел тип в брезентовой робе и сварочных очках на лбу.

— Сколько, Игнат, стыков заварить осталось?

— Одиннадцать.

— Успеешь?

Сварщик пожал плечами.

— Дашь еще человека, может, и будет!

— Пока все заняты. Освободится кто, сразу пришлю!

Мастер оглядел всех и вздохнул:

Рисунки В. КРАСНОВСКОГО.

Окончание. Начало см. в № 2 за 1977 год.

— Кровь из носу! Поняпи? По коням!

Сантехники стапи не спеша расходиться. Я подошеп к мастеру и представился. Он с любопытством лосмотрел на меня и насмешпиво спросип:

— Значит, воюешь за нашу трезвенность?!

Уже знают. Я дернуп ппечом.

— Воюю! — И, оглядев всех, добавил: — Дпя пользы завода. Секёте?

— Ишь ты, воин!— насмешливо сказал ложилой сантехник.

Другой ловернулся к нему:

— Ну да, понимаешь, в жизни всегда есть место подвигу!

— Вот что, парень, у нас тебе делать нечего,— мягко сказап мастер.— Люди мы непьющие, скучно тебе будет с нами. Да и работа, прямо скажем, не по твоему образованию. Задохнешься!

— Я знаю,— кивнуп я.— Только мне ненадолго. Один месяц помучаюсь с вами, и все. Практика. Так сказать, вослитание трудом!

— И запахом! — хохотнул пожилой сантехник.

— Ну хватит, Тахта, глотничать!— резко сказал сварщик, которого звали Игнат, и ловернулся к мастеру: — Петрович, пусть пацан идет со мной. Хотя бы лока ты пришлешь кого-нибудь.

Мастер недовольно пошевелил губами, затем кивнул:

— Ладно. Только ты, Игнат, смотри, чтобы он еще чего-нибудь там не навоевал.

Рабочие, переговариваясь, стапи расходиться. Сварщик Игнат оглядел меня с ног до гоповы и вдруг расллылся в улыбке.

— Не дрейфь! Рукавицы есть?

— Откуда? — хмуро ответил я, стараясь держать его на лочтительном расстоянии.

— На складе надо лолучить... Возьми лока мои.

Он отомкнул верстак и достал чуть обожженные серые рукавицы размером с хорошие валенки.

— Получишь — отдашь новые!

Господи, раскрути ты земной шар лознергичнее, чтоб скорей этот месяц пролетел!

Стараясь не ислачкать руки, я напялил рукавицы. В дверях мелькнула и исчезла фигура Гер Герыча. Мне локазалось, что он находился с самого начала здесь и все слышал и видел.

— Как у тебя со здоровьем?— зачем-то задал волрос Игнат.

— В детстве болел свинкой!—ложал я ллечами.

Игнат свалился на верстак от хохота.

— Чудак, я тебя слрашиваю, не тяжело ли тебе будет, а ты... ты... в детстве... свинкой...

Смотреть, как он ллачет крулными слезами от хохота, невозможно без улыбки, и вскоре я тоже смеялся.

Услокоившись, Игнат ловел меня в закуток, вручил тележку со сварочным алларатом, сам лодхватил коляску с баллоном кислорода, и мы локатили наше орудие лроизводства к инструментальному цеху.

— Ты не обращай внимания на шутки ребят,— выступал Игнат ло дороге.— Бригада у нас хорошая. Дружная. А сантехником работать интересно. Холодно — за нами бегут, лить нечего — олять нужны мы, ломыться — и то без нас не могут.

— В лорядке работка!— усмехнулся я.

— А что, скажешь, не в лорядке?

— В лорядке. Особенно мыть всех!

— А-а-а, ну да!— хмуро заговорил Игнат.— Грамотные! Небось, мечтаете стать космонавтами или докторами! Конечно! А вот ты стань сантехником. Настоящим. Чтоб без тебя не могли. А насчет грамотности, так видишь, мы на участке считаем себя людьми с техническим образованием. Потому как сантехник — это что? Санитарный техник! Понял?

Игнат опять засмеялся. Вообще, мне кажется, смех — его спабость. Папец, наверное, локажи, и готов.

— А я вот не учился!— вздохнул Игнат.— Рос в деревне, матери помогал. Батя на войне остапся. А дома еще три сестренки. Потом армия, на флоте служил. Правда, на берегу. В штабе швартовался. За время службы ни разу моря не видел. Но уж как в деревню на лобывку приехал, ох и наппавапся! Языком. Штормы, океаны, акулы — в деревне рты разевали. Потом женипся здесь. И вот варю... Стол, лриехали.

Мы затащили аплараты в цех. Игнат объяснил, что мне депать, надвинул очки, зажег горепку. В мои обязанности входипо состыковывать трубы, лоддерживать одну из них, следить, чтобы они лежали ровно, лока Игнат их прихватывает, подавать лровопоку, зажигалку, бегать с бутылкой из-под мопока за бесппатной газировкой и слушать его трепалогию. Вообще-то он оказался мужиком интересным. И варит — закачаешься. Я даже залюбовапся. Рука его плавно вела горелку, проволока таяла на глазах, а когда она кончалась, он рывком отбрасывал через плечо ненужный кусок, тут же подхватывап другую. В неудобных местах он то становился на колени, то пожился на слину и варил снизу, то перекпадывал горелку в левую руку и пролезал туда, где, мне казалось, и варить-то бып невозможно.

— Обалдеть! — восхитился я, когда тонкой проволокой, прикрелленной к куртке, он лрочищал горелку.

На его смуглом лице вслыхнуло удовольствие.

— А ты говоришь — свинкой! — хохотнул он.— Я как лосле армии научился варить, так вот уже десять лет не могу навариться. В воскресенье готов бежать на завод... А я ведь уходил с зтого завода. Представляешь? Три года отработал—не дают лятый разряд, и все. Ну, я, значит, заявление на стол. А мне раз — и лодлисали заявление. Понимаешь?! Не уговаривали, не оставляли две недели отработать, ничего. Не хочешь — отчаливай. Ну, я и сломался. Психика, значит, хрустнула. Восемь месяцев в другом месте лахал, а обида все гложет. За что же меня так отлустили? Неужели не нужен совсем? Ну, в общем, жжет в душе что-то. Однажды ллюнул на все, вернулся на завод — и к ребятам. Дескать, братцы, лодвиньтесь, дайте с вами. С тех лор вот держусь за цех — руки дрожат. А ты говоришь — свинкой!

— Да ладно! — нахмурился я.

— Поварить хочешь? — слросил он, видимо, желая сгладить вину.

— Конечно! — обрадовался я.

Я уже давно думал об этом, только не решался лросить у него. Игнат зажег горелку, отрегулировал и лередал мне ее вместе с черными очками. В очках, оказывается, можно слокойно смотреть на лламя. Игнат взял два куска трубы, состыковал их и скомандовал:

— Вари!

Я подставил конец лроволоки, навел на нее огонь, но, может, от того, что дрожали руки, лроволока все никак не ллавилась, а когда она наконец расплавилась, то жидкая сталь шлепнулась в одно место, и точка. Телерь все надо начинать сначала.

— Не дрейфь! — кричал Игнат.— Держи ровней горелку и ниже, на одном расстоянии... Ну, вот видишь, лолучается, молоток, вырастешь — кувалдой будешь!

Перед самым обедом явился ложилой сантехник,

которого Игнат обозвал Тахтой. Он не спеша подошел к нам, приставил к стене свой железный ящик для инструмента, тяжело опустился на него, неторопливо достал сигарету, закурил и только тогда медленно произнес:

— Петрович прислал на помощь. А ты, малый,— он повернулся ко мне,— можешь теперь идтн на участок.

Честно говоря, мне не хотелось уходить от Игната. С ним было нескучно, он не задавался, даже разрешал варить. И ребятам можно будет небрежно рассказать об Игнате. Я посмотрел на него. Он сделал вид, что не слышал Тахту. Я с грохотом скинул с плеча трубу и стал собираться. Игнат убавил пламя в горелке и повернулся к мужику:

— Вот что, Тахта. Скажи Петровичу, что мы сами управимся. Пусть он лучше тебе даст работу,— и скомандовал мне: — Давай трубу!

Я обрадованно потащил ее к нему.

— Мне что! — протяжно сказал Тахта.— Меня прислал мастер. Не хочете, как хочете! Покурю и пойду.

Сказав это, сантехник неожиданно уронил голову на грудь и тут же мгновенно задремал. Я изумленно вытаращил глаза, потом толкнул в плечо Игната. Он осторожно передал мне горелку, а сам на цыпочках подкрался к дремавшему сантехнику и что было сил крикнул ему на ухо:

— Встать! Смнрно!

Тахта пулей взлетел вверх, вытянулся и немигающе, испуганно выпучнл глаза. Поняв, в чем дело, Тахта виновато улыбнулся и бросил беззлобно:

— Вот дураки! Как дети, ей-богу! — И, подхватив свой железный ящик с инструментом, ушел.

Когда мы возвращались с Игнатом в цех на обед, я спросил:

— Почему вы его прозвали Тахтой?

Он махнул рукой.

— Да ну его. Сачок. Работать не хочет. Где сядет, там спит. На работе мечтает о тахте, а на тахте мечтает о работе.

Радио передавало заводские новости. В углу, у крайнего верстака, держа в одной руке полбатона, а в другой огромный кусок колбасы, на скамейке дремал Тахта. Вся бригада уже была в сборе. Ели бутерброды, прихлебывая из бутылок молоко, н, конечно, «забивали козла».

Вообще-то рабочие чем-то были похожи на нас, ребят. Обращаются друг к другу не по имени, а по кличке. Например, сантехника Василевского награднлн прозвнщем «Понимаешь» за то, что он зто через каждое слово повторяет. Несмотря на свон сорок девять лет, Василевскнй холостяк, домой ему спешнть незачем, и, если его не отгонять от работы, будет упнраться до двенадцатн ночи.

Есть в брнгаде н легендарная лнчность — Тетя Петя. К нему со всего завода мужнки прнходят деньгн одалжнвать. Ннкогда ннкому не откажет. Только предъявн, как на проходной, пропуск — он в тетрадочке карандашиком фамилию нацарапает и выдаст деньги. Но если с получкн илн с аванса на день просрочишь — больше не подходи, банк закрыт. А имя свое Тетя Петя добыл, когда женщины за его щедрость душевную к нх мужнкам нзбили. Избнлн и прнгрознли, что еслн он еще будет одалжнвать, то лншнтся кое-каких свонх достоннств. Суровая угроза подействовала, и трн месяца мужья этих налетчнц со вздохом н недоуменнем отходнлн от Тети Петн без копейкн. Потом кто-то узнал от супруги правду, рассказал друзьям по несчастью, н мужья дружно отомстнлн за Тетю Петю. Затем месяц каждый из ннх ходнл к нему и уговарнвал ничего на свете не бояться н чувствовать себя мужчиной.

Не забыли в бригаде и литературу. Свой выбор остановили на Николае Васильевиче Гоголе и нарекли двух членов бригады Бобчинским н Добчинским. Однако, несмотря на пестроту жизненного материала, всех членов бригады роднит, пожалуй, одно — желание заниматься своим делом. Вымпелы на верстаках, переходящее знамя в углу, на стенах приказы с благодарностями и материальными поощрениями лучше всего характеризуют трудовой знтузназм и глубокие знания сантехников.

Как только мы появнлись на участке, Игнат с ходу кинулся к столу, где его уже ждалн трое доминошников.

— Как дела? — спросил Игната мастер Петрович, перемешивая костяшки.

— Восемь стыков уже готовы! — небрежно бросил Игнат, разворачивая бутерброды.

— Ну-ну! — довольно буркнул Петрович и кивнул в мою сторону: — А этот больше не отчебучил ничего смешного?

— Не-а! — промычал Игнат, жуя.— Старается вовсю! Вот только говорит, в детстве болел часто!

Он посмотрел в мою сторону, подмигнул и глухо замычал полным ртом. Я отвернулся.

На участок осторожно вошел Мальчоныш. Увидев меня, он заговорщицки помахал рукой н, когда я подошел, спроснл:

— Обед начался?

Я кивнул.

— Тогда пошли на улицу. Глотнем солнца и воздуха... Слушай,— воскликнул он, как только мы высунулись из цеха.— Это ведь ужас! Они там вкалывают, как звери!

— Ты про кого?

— Про женщнн. Они цепи собирают. Для разбрасывателей. Вначале я думал — работа чепуховская. Потом попробовал — одну десятую нх нормы выполнил. Они говорят, что мужики пытались с ними тягаться — сдались. А их бригаднр, молодая тетка Ирина, говорит, что мужикн вообще работать не умеют. Конечно, с ней равняться ннкто не может. Она, знаешь, Дик, все время хохочет, а руки у нее — не уследишь, скачут, как сумасшедшие.

— Что же ты хочешь,— пожал я плечами и, как маленькому, объяснил: — Пролетариат — передовой класс!

— А мужчины? Они, что же? Не пролетариат? Или не самые сознательные?! Да если хочешь знать, моя Ирина любых тронх мужиков за пояс заткнет!

— Заткнет, ну н ладно! Ты что-то горячишься! Лучше скажи, где парни.

Мальчоныш, улыбаясь, начал докладывать:

— Значит, так. У Сэма н Бнля срочная работа: сверла ломают. Академнк одному парню фнзнку объясняет. А Дипломат на каре в яму влетел. Его вытащнли, н он теперь свою «Чайку» драит.

Из цеха вышлн Игнат и мастер Петрович. Они возбужденно переговарнвалнсь.

Мальчоныш схватнл меня за руку н, не отрываясь, проводнл взглядом уходящего мастера.

— Ты что? — удивнлся я.

— Слушай, Днк, кто зто? — тихо спросил Мальчоныш.

— Наш мастер.

— Мастер. Правнльно! Точно! Да ты знаешь, кто зто? Муж нашей Анны Андреевны!

— Математичкн? — ахнул я.

Он кнвнул.

— Врешь!

Мальчоныш обнженно посмотрел на меня.

— Да я его за версту узнаю! Он это! И надо обязательно парням сообщить!

6

После работы нас всех на проходной обычно терпеливо ждет Гер Герыч. Вот и сейчас примостился на подоконнике и покорно тянет лямку руководителя практики. Многие уже явились и шумят с такой энергией, что становится страшно. Чем же они занимались целую смену, если могут еще так резвиться? Никакой на лицах рабочей усталости, никакого торжественного удовлетворения от трудового дня. Сплошная резвость тунеядцев.

— Все в сборе? — спросил Гер Герыч, когда мы с парнями появились в проходной.

Со всех сторон понеслось:

— Саньки Рюмова нет!

— Весениной!

— Пошли! Чего там!

— Есть хочу!

— Семеро одного не ждут!

В проходную вбежал запыхавшийся Санька Рюмов. Его, понятно, встретили дружным рычанием.

— Чего я сделал? Я убирал свое рабочее место! — оправдывался он плаксиво.

Осталось дождаться только Маньку Весенину. Класс уже серьезно нервничал, да и Гер Герыч бросал нетерпеливые взгляды на дверь. Однако обычно мы дожидались всех. Наконец появилась и она. В руках у Маньки был большой бумажный пакет. Увидев нас, она обрадованно заулыбалась, затем смущенно покраснела.

— Ой, вы ждете меня? Извините. Я цветы упаковывала! Понимаете, они больные!

Последние слова ее потонули в шуме сердитых голосов. Гер Герыч ткнул пальцем в центр оправы и воскликнул:

— Ну, теперь, кажется, все! Можем идти!

Нам очень нравилось высыпать из проходной всем классом — в центре улыбающийся Гер Герыч, а вокруг него, заполнив чуть ли не всю улицу, мы.

Однако на этот раз, как только мы выбрались на улицу, Гер Герыч прошел немного с нами, а затем вдруг остановился.

— Уважаемый рабочий люд! Дальше уж следуйте без меня!

Послышались обиженные голоса:

— Не-е-ет!

— Мы не отпустим вас!

Гер Герыч засмеялся.

— У меня сегодня, ребятки, некоторым образом небольшой праздник! — Он извлек из кармана желтый ключ и поднял его над головой.— Как вы правильно догадались, это ключ! Ключ от квартиры. Мне сегодня его вручили. Так что позвольте не сопровождать вас, ибо я еще толком не осмотрел свою собственность.

Нашему крику позавидовали бы на хоккейном стадионе. Со всех сторон понеслось:

— Поздравляем!

— Ура!

Мальчоныш бросил мне негромко:

— Это к свадьбе!

А Дипломат заорал:

— Герман Германович, и мы к вам!

Класс ревом поддержал Дипломата. Гер Герыч, улыбаясь, жмурился от крика, затем поднял обе руки.

— Да у меня голые стены! Ни мебели, ни посуды!

— А мы только посмотрим квартиру! — крикнул Академик.

— Айда! — отчаянно махнул рукой Гер Герыч.

Если бы можно было, мы б, кажется, сейчас запели на ходу песню. Что-нибудь вроде «В нашем доме появился замечательный сосед». Вообще-то надо сказать, что Гер Герыч умеет ловко высекать искры из наших душ. Еще давным-давно, когда мы учились в четвертом классе, Гер Герыч доказал нам, что лучшего человека на свете, чем он, нет, не было и быть не может. А случилось это так. Заболела Анна Андреевна, и уроки по арифметике стал вести Гер Герыч. Для нас он тогда был учитель как учитель. Может, лучше готовился дома и тем самым увереннее, чем Анна Андреевна, объяснял новый материал. В те времена мы еще в психологию не углублялись. И вот однажды высыпали мы после занятий из школы и ахнули. Наш новый учитель арифметики стоял с гордым видом в белом шлеме, в огромных, как у автоинспектора, рукавицах, поверх его обычных очков были напялены большие очки, вроде летных, времен Чкалова. У ног Гер Герыча покорно стоял серый мотороллер. Машина была новенькая, и учитель, видимо, гордился ею не меньше, чем собою. Он ходил вокруг нее с таким видом, словно перед ним стоял персональный крейсер. Ходил-то он вокруг нее, а посматривал в сторону школы — не увидит ли кто это чудо века. Мы, конечно, тут же клюнули, в один миг наш класс плотным кольцом обступил машину с хозяином и распахнул от изумления рты. Удовлетворив свое тщеславие, Гер Герыч дрыгнул ногой, и мотороллер ретиво затарахтел. И тут новый учитель повернулся к одному из нас и царским жестом предложил:

— Садись, прокачу!..

В жизни человеку дважды такое счастье не приваливает. Может, поэтому Гер Герыч еще не успел договорить свое приглашение, а счастливчик уже сидел за его спиной. На углу они лихо развернулись и покатили назад. Гер Герыч обратился ко мне:

— Теперь садись ты!

Нас в классе было тридцать. И тридцать раз Гер Герыч гонял до угла и обратно.

— Ну, кажется, все! — воскликнул он радостно, когда подвез последнего счастливчика к нам, затем поднял руку в автоинспекторской перчатке и скомандовал:— Теперь по домам, и за уроки!— И исчез, как добрый волшебник.

Разумеется, на следующий день мы схватили в общей сложности по всем предметам около пятнадцати двоек. Потому что никаких других предметов, кроме арифметики, не учили. Гер Герыч еще несколько раз катал нас на своем мотороллере, и в те годы нам этих нескольких раз хватило, чтобы весь класс стал признавать в жизни только Гер Герыча, арифметику и мотороллер.

Нам уже стали попадаться следы бывшей стройки, когда Дипломат толкнул Сэма и Мальчоныша и сказал:

— Парни, с пустыми руками в новую квартиру не ходят!

— Что ж ты предлагаешь? — строго посмотрел на него Сэм.

— Нужно хлеба и соли!

Мальчоныш обрадовался.

— Эту прекрасную традицию я поддерживаю даже пустым желудком!

— И пустым карманом! — вздохнул я.

— Надо собрать у кого сколько имеется!

Мальчоныш ринулся к Билю, который что-то заливал Жанке и Вернисажевой. Мальчоныш шепнул ему, Биль сморщился, вздохнул и полез в карман.

Мальчоныш тут же бросился в магазин.

Чуть в стороне от всех вышагивал Академик с Манькой. Он нес ее пакет. Манька, улыбаясь, что-то рассказывала, а он сиял очками, как герой медалями.

Наконец Гер Герыч остановился у нового пятиэтажного дома и повернулся к нам.

— Ну что, войдем?

— Да-а-а! — рванул воздух дружный ответ.

— Может, в другой раз? — улыбнулся Гер Герыч.

— Не-е-ет!

— Ну, смотрите! — Гер Герыч ткнул пальцем в центр оправы и повел нас в дом.

В квартиру ворвались гурьбой и уже от двери, еще ничего не видя, начали ахать от восторга. Затем, как муравьи, расползлись по комнатам, на кухню, в ванную. Со всех сторон понеслись возбужденные голоса:

— Герман Германович, а ванна большая, и вода уже есть!

— А шкафчики-то вмонтированные!

— Герман Германович, а балкон какой шикарный — обалдеть можно!

Кто-то дернул ручку в туалете, послышался веселый шум обрушившейся воды. Гер Герыч отвечал на восторги растерянной улыбкой, кивал головой, смеялся и все повторял:

— Действительно, обалдеть можно!

Когда в большой комнате собрался почти весь класс, Мальчоныш закричал:

— Тихо! Тихо! — и, дождавшись относительной тишины, обратился к хозяину: — Уважаемый Герман Германович, пусть в этом доме у вас всегда будет такое настроение, чтобы вы могли ставить нам только пятерки. С новосельем вас!

Вперед выбрался Биль и развернул большой пакет. В нем лежали две буханки черного хлеба и пачка соли. Если учесть, что мы после работы, то можно понять, почему поднялся такой радостный крик. Биль отломил большой кусок и вручил его Гер Герычу. Затем начал отламывать для других. А Мальчоныш закричал по-купечески «Эх», стал извлекать из карманов булочки и раздавать их девчонкам.

— Хочу я видеть,— тихо сказал Сэм,— как они будут макать сдобу в соль!

Академик отломил половину от своего черного куска и что-то шепнул Маньке. Она улыбнулась и протянула ему булку. Они обменялись кусками и засмеялись. Я переглянулся с Мальчонышем, который тоже наблюдал за этим обменом. Он пожал плечами.

— Ну как, понравилась квартира? — весело спросил Гер Герыч, доедая хлеб.

Сразу несколько голосов ответили:

— Конечно!

Гер Герыч кивнул.

— И мне нравится. Когда учился в институте, я думал: ни за что не обзаведусь собственной квартирой. Ну ее. Буду жить в общежитии всегда. Чтоб, значит, среди людей только быть. Даже у матери, где я сейчас живу, мне часто становилось холодно. А вот теперь...

— Человеку одиночество необходимо! — философски заметил Биль.

— Да? — взглянул на него Гер Герыч.— А зачем?

— Ну как? — удивился Биль.— Да хотя бы отдохнуть в конце концов от людей. После отдыха их крепче любить будешь!

— Отдохнуть? Нет, ребятушки мои дорогие! Нехорошо отдыхать от людей! Страшно! Можно замерзнуть. Да, да, именно замерзнуть в солнечный день у всех на глазах. За какими толстыми стенами вы бы ни жили, какими бы прекрасными и богатыми вещами себя ни окружали — будь то шкафы или посуда хрустальная, ковры или пластинки, книги или картины,— нужно всегда держать связь с людьми. Чтоб какая-то ниточка тянулась от вас к людям. Лопнет эта ниточка — и все, считайте, что пропали. Впрочем, ладно... А скажите мне, други мои, какую мебель вы посоветуете приобрести?

— Я думаю, Герман Германович,— решительно начала Жанна,— сюда можно поставить журнальный столик, два кресла и торшер.—Она ходила по комнате и указывала: — В этот угол телевизор на ножках, здесь должен стоять диван с такой же обивкой, как на креслах. А на полу большой яркий ковер.

— И несколько пуфиков. Сейчас это модно! — добавила Вернисажева.

— Нет! — вскричал Сэм.—Чепуха! Получится не комната, а гостиничный номер. Ладно, пусть в этом углу останется журнальный столик и кресла. Пусть. А диван отсюда — за окно, пуфики — за окно, ковер — за окно. Вместо дивана лучше всего подойдет большая книжная полка.

— Можно даже с книгами! — добавил Мальчоныш.

— А на стену,— повысил голос Сэм,— картину!

— «Три богатыря»,— подсказал ехидно Биль.

— Зачем? — Сэм повернулся к нему.— Какую-нибудь теплую. Серова, Левитана, можно что-нибудь из импрессионистов — Гогена или Ван-Гога!

— Так! Спасибо, ребятки, за советы! — Гер Герыч ткнул пальцем в центр оправы.— Как видите, куда ни повернешься, везде нужен вкус. Или, точнее, чувство прекрасного. Обставить квартиру, красиво одеться—все должно совершаться по законам эстетического вкуса... Вот вы сейчас, ребята, работаете на заводе. А обратили внимание на одну чрезвычайно любопытную деталь? Если человек хорошо работает, умеет трудиться, у него всегда замечательное настроение. Он и поет, и насвистывает, и шутит. А почему? Да потому, что спорый труд пробуждает в человеке чувство прекрасного. Ну, а если какой-то рабочий — лентяй, халтурщик, то он уж такой зануда, что ой-ой-ой!

Мы засмеялись.

— Это вы правильно сказали, Герман Германович,— воскликнула Манька.— Вот когда меня на заводе отправили цветочками заниматься, я вначале ужасно расстроилась. Даже плакала. Думала, невезучая, все работать будут, а я одна глупостями заниматься стану. Ну, зачем на заводе цветочки? Кому они нужны? А потом посмотрела, сколько народу на цветы любуется, как в обед тянутся отдыхать поближе к клумбам, интересуются названиями... Знаете, у них, мне кажется, в это время даже усталость с лица исчезает. Вот я тогда подумала: это очень здорово, что на заводе много цветов...

Манька неожиданно замолчала, покраснела и, смущенно улыбаясь, посмотрела на Академика. Кажется, если собрать все слова, произнесенные ею за всю жизнь, их не наберется столько, сколько она выдала сейчас. Может, поэтому все с восхищением смотрели на нее. А Академик так даже рот раскрыл.

— А я как пришел на завод,— воскликнул Мальчоныш,— так начал к женщинам относиться иначе! Они ведь работают лучше любого мужика. На обед идут минута в минуту, домой собираются — до секунды отработают. А как работают! В общем, женщины — это самый высокосознательный народ! Вот взять, например, нашу бригадиршу Иру. Работает за троих мужиков и еще сил хватает весь день хохотать. Тридцать лет всего, а директор завода ее руку своими двумя пожимает. Честное слово!

Неожиданно в дверь позвонили.

— Герман Германович, мы пойдем! — сказал Академик.

— Ну хорошо, ребятки! Спасибо вам большое! До завтра!

Вытянувшись в длинную цепочку, мы по одному проходили мимо Гер Герыча и незнакомой фигуры, стоявшей в дверях.

По лестнице мы неслись так, что лучшего испытания на прочность дома придумать невозможно. На улице все, конечно, быстро разбежались. Кроме парней, разумеется. И девчонок — Жанки, Маньки и Нинки Вернисажевой. Судя по всему, Жанка на меня дуется за то, что я не крутился около нее по дороге к Гер Герычу и у него дома не вздыхал печально ей в ухо. Во-первых, мне просто неудобно при всех, а во-вторых, хочется посмотреть, что получится у Биля — ведь он всю дорогу заигрывал с ней. Кстати, и сейчас она собирается демонстративно идти с ним домой. Нинка Вернисажева ждет Сэма — так мне кажется,— ведь им по дороге. Ну, а Манька, может, и давно бы ушла, но Академик держит ее пакет с больными цветочками. Держит осторожно, словно динамит. Я извинился перед девами и отозвал парней в сторону.

— Нам надо решить, что делать с мастером Петровичем!

— Обязательно! — бодро воскликнул Мальчоныш.

— И решим! — уверенно пообещал Сэм, оглядываясь на Вернисажеву.

— А что если отбросить все эстетические принципы, о которых говорил Гер Герыч,— воскликнул Биль,— и надавать ему по шее? За Анну Андреевну, за наши двойки и за двойки будущих поколений!

— Я думаю, тут спешить нельзя,— выдавил Академик, глядя мимо нас на Маньку.

— Точно, Дик, — сказал насмешливо Дипломат, кладя мне руку на плечо.— Сейчас предложи им его арестовать, и они с радостью согласятся!

— Твои шуточки, Дипломат, не достойны Организации Объединенных Наций,— обиженно сказал Академик и, поглядев на нас, вдруг робко пробормотал: — Парни, я... в общем, если смотреть в корень, то... я пошел. Ладно? А завтра мы обязательно что-нибудь придумаем.

Последние слова Академик говорил уже, стоя около Маньки. Они дружно крикнули нам «Чао!» и быстро ушли.

— Ну что ж, раз Академик ушел,— сказал весело Биль,— все срывается! А жалко!

Он кивнул нам и поскорей отошел к Жанке. Она нерешительно смотрела на меня. Я отвернулся. А когда взглянул на них, то увидел уже только их спины.

— Значит, до завтра! — протянул мне руку Сэм.— А то еще домой заглянуть надо. Тренировка сегодня.

— И я пойду!— бросил Мальчоныш на ходу, припуская за Сэмом и Вернисажевой.

На троллейбусной остановке мы расстались с Дипломатом. Он погрузился в общественный транспорт, а я пошел домой пешком.

Седоватая мгла вечера уже накрыла город. На улицах полно народу, как обычно бывает в час пик, когда все возвращаются с работы.

Дома я застал Игоря и Веру. Игорь разобрал три утюга и теперь собирал из них один действующий. Вера писала письмо родственникам, которых у нас, наверное, пол-Союза.

— Ты что, заболел? — удивленно поднял голову Игорь.

— Нет, а что? — опешил я.

— Ну как же! — пожал он плечами.— Восемь часов, а ты уже дома! Завтра обязательно сходи к врачу!

Я ушел в свою комнату, и, когда лег спать, вошел Игорь. Принес телефон. На ночь телефон всегда ставят в мою комнату, потому что ночью могут позвонить только мне. Игорь подошел к моей кровати, присел и серьезно спросил:

— Что с тобой сегодня?

— Все в порядке.

— С ребятами поссорился?

От удивления я сел.

— С чего ты взял?

— Показалось! — пожал он плечами.

— Да мы вместе у Гер Герыча сейчас дома были!

— Ну и хорошо! — оживился он моментально.— Это очень хорошо! Ребята они стоящие! Держись их. Обязательно. А я подумал: раз так рано вернулся, не иначе как... Ну, ладно. Спокойной ночи, сын!

Я уже задремал, когда зазвонил телефон. Говорил Мальчоныш.

— Дик, слушай,— шептал он в трубку, так как его телефон стоит в столовой, где спят сестры.— Ты не обижайся, что я так ушел сегодня. Ладно?

— Как? — не понял я.

— Ну, понимаешь,— шипело в трубке.— Мы все ушли, даже Жанка, а вот ты остался!

— Так я ж с Дипломатом был! — не понимал я.

— Конечно... Только, знаешь, ну... ты же хотел поговорить с нами, а мы... И Жанка... Дик, мне холодно, я босиком и в трусах... Не обижайся, ладно? Спокойной ночи, Дик!

Черт, у меня что-то в груди перехватило.

— Спокойной ночи, Эдик! — сказал я взволнованно.— Я не обиделся.

Не успел я еще как следует успокоиться от разговора с Мальчонышем, как вновь раздался звонок. На этот раз звонил Сэм.

— Ты знаешь, Дик, что я подумал о Петровиче,— начал он без всяких вступлений.— А если мы обратимся в заводскую печать?

— Эта мысль пришла тебе на ринге?

— Нет, я давно с тренировки. Значит, не годится? Ну и ладно, подумаю еще! Да, кстати, Дик, надеюсь, ты там не в гневе, что мы так скомканно ушли? — голос Сэма звучал наигранно бодро.

— Все в порядке, Сэм!— успокоил я.— На вашем месте я бы поступил точно так же! Спокойной ночи, Сэм!

Биль позвонил минут через сорок, когда я уже совсем засыпал.

— Могу тебя поздравить, Дик! Я схлопотал по роже! — тараторил он.— Мы весь вечер с ней проговорили о тебе. Представляешь, как мне было интересно? Ужасно! Ты только, Дик, не сердись на меня. Такие случаи бывают в жизни! Не веришь? Возьми подписное издание Всемирной литературы и в каждом томе найдешь подобную ситуацию!

— Сейчас посмотрю,— вздохнул я.

— Нет, Дик, правда! Ты никогда не замечал, какая у нее суровая и безжалостная рука? И силы сколько? Боже! Думаю, ты не в большой обиде на меня? Чао, Дик! Пусть тебе приснится моя опухшая щека!

— О'кэй, Биль, спокойной ночи! А насчет щеки — плюнь! У тебя еще одна есть.

Милый Биль! Видимо, полез целоваться и получил.

Наконец я заснул. И вдруг резкая трель телефона разбудила меня. Я взглянул на часы. Было два часа ночи.

— Дик, пойдем погуляем, а? — раздался в трубке веселый голос.

— Кто это? — не понял я спросонья.

— Дик, это я, Академик! Пойдем, Дик, погуляем. Ночь — свихнуться можно! Луна светит вовсю. Дик, я все равно не усну. Пойдем. Понимаешь, она отличная девушка. Умница. Конфуций, Гораций и Ньютон! Все вместе! Мы с ней только сейчас расстались, Дик! Ты не имеешь права спать. Вставай и выходи!

— Слушай ты, микроб весенний! — негромко лроизнес я. — Хромай спать! А если не можешь уснуть, лозвони парням! Я, как ни странно, люблю ночью спать!

— Я понимаю, Дик! И парням я, конечно, сейчас позвоню! Слушай, Дик, а когда целуются, зубы сжимают или разжимают? Ты меня должен обязательно научить.— В трубке раздался сдавленный смех.— Дик, ну выйди, а!..

— Спокойной ночи, идиот! — крикнул я в трубку и отключил телефон.

Я укрылся одеялом с головой и попытался уснуть. Однако сон долго не шел. Мешала улыбка, которая, я чувствовал, рассекла мою физиономию от уха до уха.

7

Мне всегда интересно наблюдать, как в гардеробной завода преображаются люди. Вот появился солидный мужчина. В шляпе, белой рубашке с галстуком. А другой — так и с огромным лортфелем, ни за что не узнаешь! Министр — да и только! В крайнем случае — замминистра! Но вот министр начинает постепенно лреображаться. Напяливает рабочие брюки и толстые ботинки, и уже что-то знакомое лроступает в нем. Кажется, где-то ты этого товарища видел. А может, даже он и за руку с тобой здоровался. Затем натягивает на себя старую толстую рубашку, куртку, зажимает под мышкой огромные рукавицы, надевает фуражку, и ты уже видишь, что это совсем не министр и даже не замминистра, а просто Тетя Петя или еще кто-нибудь из сантехников.

Первое, что я сегодня услышал, входя в гардероб, это широкий, щедрый хохот. Смеялся, конечно, Игнат. Напротив его шкафчика раздевался Василевский. Брюки он уже снял, сидел в рубашке с галстуком и в зеленой шляпе. Василевский, улыбаясь, смотрел на Игната.

— Так ты что? — сквозь смех спросил сварщик.— Прямо из зала и убежал от нее?

— Ну да! — спокойно кивнул Василевский, развязывая галстук. — В темноте-то, понимаешь, оно сподручней!

— Так меня ж моя старуха зашибет! — натягивая брезентовую куртку, вскричал Игнат.

С другого конца гардеробной сантехник Иван Семенович спросил:

— Что, Игнат, сватал его своей жене?

— Да нет,— ловернулся к нему Игнат.— Ее сестре. Чуть, значит, родственниками не стали. Договорились, что я его познакомлю с жинкиной сестрой. Ну, кулил два билета в кино. Один ей дал, другой — ему. Научил, как действовать. Мол, лридешь, сядешь рядом. Она, значит, будет слрава — смотри не лерепутай! Потом заговори, дескать, лривет вам от Игната. Ну, а лосле кино ловеди ее куда-нибудь!

— А куда? Куда? — горячо воскликнул Василевский, обращаясь ко всем.— Куда можно повести?

— Да хотя бы в столовую! — лредложил Тахта.

— На троллейбусе локатал бы! — лосоветовал Тетя Петя.

— Да ты бы взял бутылку и ко мне пришел! — с отчаянием воскликнул Игнат.— И тебе хорошо, и мне приятно!

— Ну вот еще, к тебе! — растерянно бормотал Василевский, видимо, оценивая лро себя этот вариант, и уже вяло добавил:— А я, лонимаешь, думаю, ловеду ее еще раз в кино. А потом решил: да ну ее, взял и утек!

Дружный хохот потряс гардеробную.

На участке нас уже ждали Петрович и Бобчинский с Добчинским. Взглянув на Петровича, я ахнул. Вздувшиеся мешки под красными глазами, лотрескавшиеся губы и серо-землистое лицо говорили о том, что, если бы у нас сегодня была математика, нам бы крышка.

Все разбрелись по своим верстакам и, рассевшись, уставились на мастера. Я стоял у верстака Игната. Он чуть сдвинулся со стула и кивнул:

— Садись, практикант!

— Да ничего! — махнул я рукой, хотя, если честно лризнаться, его забота мне была лриятна.

— Садись, садись! — лотянул он меня за рукав.— Как в школе, на одной парте будем!

Я сел.

— Значит, так, хлопцы,— вяло обратился ко всем Петрович.— Сегодня у нас срочная работа. Надо заварить змеевик в третьем бойлере, а заодно уж и все почистить. Сделать нужно до обеда. Работать будем бригадой.

Для меня слова Петровича: бойлер, змеевики— словно язык эсперанто. Однако по лицам сантехников я понял, что работа предстоит сегодня не сахар.

— А если не успеем до обеда? — спросил Игнат.

— Тогда до конца смены не нагреется вода. Рабочие лойдут домой грязные. Будет шум. Не видать нам первого места! В общем, сами знаете, что будет! Надо успеть! Воду из бойлеров ребята уже выпускают.— Петрович кивнул на Бобчинского и Добчинского.

— Сделаем! — поднялся Иван Семенович.— Нечего лясы точить!

Все разом с шумом лоднялись, и участок ожил. Заскрипели выдвигаемые из верстаков ящики — каждый отбирал нужные ключи, молотки, налильники, крючки, лен, красную краску и складывал в ручной ящик для инструментов. В движениях людей появилась собранность, разговаривали друг с другом по-деловому, серьезно, и трудно было поверить, что только что балагурили в гардеробной. И еще мне локазалось, что сейчас мастер Петрович как бы отступил на второй план, и все обращались к Ивану Семеновичу.

Игнат отправился за карбидом.

Петрович сидел у верстака Ивана Семеновича и вяло отвечал на какие-то вопросы. Вдруг мастер ловернулся ко мне и сказал:

— А ты давай в бойлерную. Будешь помогать там Егорову и Семенову.

Бойлерная — это большое ломещение, где висят четыре огромные длинные бочки, наломинающие чем-то огурцы. Бочки сплошь лереллетены трубами. По одним идет холодная вода и лар, лодогревающий эту воду, ло другим — с ломощью насосов качается вода во все душевые завода, а также в столовую, лрачечную и в гараж.

Когда я лоявился, в бойлерной стояла жара — дышать нечем. Из бочек вылустили всю горячую воду в сточную яму. Бобчинский и Добчинский, раздевшись ло лояс, ислытывали лресс. Они заливали в него воду, затем вручную откачивали ее.

— К вам лрислали! На ломощь! Что делать надо?

Они лереглянулись.

— На ломощь, говоришь? — лереслросил Бобчинский.— Это хорошо! Значит, будет лорядок! Берика ведра и заливай воду вот в эти бойлеры! — Он кивнул на бочки.

— Да смотри, старайся как следует, работы сегодня очень много! — лодхватил Добчинский.

Они еще раз переглянулись, и в их глазах запрыгали веселые искорки. Я усмехнулся. Оба они ненамного старше меня, а почему-то решили, что перед ними созревший идиот, раз так примитивно хотят разыграть. Петрович сказал, что они воду из бойлеров выпустили, а теперь эти два скомороха хотят, чтоб я ведрами обратно в них наливал. Даже если и правда, для этого бы понадобилось, пожалуй, ведер шестьсот. Оба затаив дыхание ждали, когда я приступлю к делу.

— Одним или двумя ведрами? — простодушно спросил я.

— Конечно, двумя! — отозвался быстро Бобчинский.— Ты же слышал, как мастер говорил: до обеда надо закончить!

— А как лить и куда? — сделал я наивное лицо, беря два ведра, стоящие в углу.— Вы покажите вначале.

Предвидя веселые минуты, оба с готовностью выхватили у меня ведра, наполнили их водой и полезли на бойлеры.

— Вот здесь сверху есть дырочка! — кряхтел по дороге Бобчинский.

— Заливай, пока не начнет булькать! — крикнул сверху Добчинский.

Еле сдерживая смех, они демонстративно принялись лить воду из ведер в сбросные клапаны. Вдруг послышались топот и голоса. В бойлерную ввалилась чуть ли не вся бригада. Увидев Бобчинского и Добчинского под потолком, оседлавших бойлеры и льющих в сбросные клапаны воду из ведер, все застыли от удивления.

— Вы что там делаете? — спросил наконец Иван Семенович.

Я повернулся к бригаде и объяснил:

— Да вот водой наполняют бойлеры. Говорят, к обеду кончат. Никак не втолкую им, что это идиотизм. Помогите хоть вы.

Бобчинский и Добчинский, застыв, сидели на бойлерах; каждый держал обеими руками ведро и ошалелыми глазами смотрел на всех сверху вниз. Первым, конечно, завизжал от хохота Игнат. Затем заголосили и остальные. Даже Тахта, потрясывая плечами, издавал ленивое «кхе-кхе». Оба друга с грохотом поскидывали сверху ведра и, краснея, стали слезать с бойлеров.

— Мы хотели его разыграть! — смущенно бубнил Бобчинский.

— Он даже согласился! — оправдывался Добчинский.— Надо было только показать ему!

— Ай, практикант! — хлопал меня по плечу Игнат.— Ай, молодец! Двоих в дураках оставил!

Я невозмутимо смотрел на всех. Но тут Иван Семенович отбросил окурок и серьезно сказал:

— Ну что, братцы! Покурили и будя!

Он спокойно распределил людей по бойлерам — и началось. Работали все, даже Игнат, пока не требовался сварочный аппарат, орудовал гаечным ключом.

Я ни разу еще не работал с бригадой и даже не имел представления, что это такое. Когда знакомился с РМЦ, мне показалось, что рабочие похожи на муравьев. Теперь же я сам превратился в подобного муравья. Или нет, не в муравья. В частицу коллектива. В первую минуту все набрасываются на работу лихо, с каким-то широким размахом, затем темп резко падает — работа упорно сопротивляется торопливому началу, необдуманному подходу. Но вот ритм налаживается, затем устанавливается, и тут ты уже ничего не чувствуешь, не замечаешь, все вокруг исчезает. Ты сливаешься с окружающими людьми. В такие минуты рушится возрастной барьер, исчезают личные взаимоотношения, отступают характеры, привычки. Никто не думает, что он работает больше, чем напарник, или лучше товарища. Здесь сейчас не было Василевских, Иванов Семеновичей, Игнатов — сейчас был только коллективный труд. Один зажимает гайку, другой отвинчивает болт, кто-то не может отбить фланец от фланца, ему протягивают кувалду и ломик; тебе тяжело снять длинную трубу — три пары рук тянутся на помощь, у кого-то соскакивает ключ — ты протягиваешь ему свой.

Около меня стояли Иван Семенович и Василевский. Ударами молотков по зубилу они рассекали заляпанные накипью гайки. После пятого удара каждая гайка пулей отлетала в сторону. Когда последняя гайка упала к моим ногам, Иван Семенович отбросил молоток и веселым голосом крикнул:

— У кого есть сигареты, айда отдыхать!

Бригада не спеша отложила инструменты и, оглядываясь на бойлеры, медленно расселась. Бобчинский и Добчинский, накинув куртки, двинулись из бойлерной на воздух.

— Куда? — остановил их Иван Семенович.

— На свежий воздух,— удивленно ответил Бобчинский.

— С ума сошли! — рассердился Иван Семенович.— Радикулит хотите подхватить? Или воспаление легких? Распаренные — на воздух!

Бобчинский и Добчинский, вздохнув, присели в дверях.

В бойлерную влетел Петрович. Он оглядел всех и бодро воскликнул:

— Значит, мы сидим, а работа стоит! Невежливо, ай-яй-яй, как невежливо. Подъем, товарищи!

Он был энергичен и весел. В его голосе слышалась развязность. Глаза поблескивали. Мастер перехватил мой взгляд.

— Ну как, вояка? А тебя учитель искал. Наверное, боится, чтоб не отчебучил еще чего-нибудь смешного!

Кажется, он слегка под градусом. Не отводя от него взгляда, я вызывающе сказал:

— Пока еще не отчебучил. Но вы не бойтесь, может, потом вместе посмеемся!

По тому, как сузились его глазки, я понял: он что-то почувствовал. Однако виду не показал.

— Ну вот и спасибо, что успокоил меня! — бросил он и повернулся ко всем.— Хватит сидеть, времени осталось мало. Давайте, давайте!

— Ладно, начнем! — сказал Иван Семенович, и бригада разом поднялась.

Змеевики вынесли во двор, и все дружно набросились на них, скребками начали очищать накипь. Было тепло, светило солнце, легкий ветерок приятно овевал тело. Работать на свежем воздухе куда веселее. Послышался смех Игната. Кто-то стал насвистывать. Я оказался у змеевиков вместе с Бобчинским и Добчинским. Гоголевские герои работали молча. Но вот Бобчинский взглянул на меня и вдруг улыбнулся на все тридцать два зуба.

— Нет, хорошо ты нас купил! Молодец!

— Главное, взял недорого! — вздохнул Добчинский.

Я утвердительно кивнул головой.

— Так ты, значит, на практике здесь! На один месяц! Счастливчик! — причмокнул языком Добчинский, ловко вспарывая большой кусок накипи.

Мне всегда кажется, что такие ребята, работающие на заводе, смотрят на нас, сверстников, как на детей. Поэтому я сказал:

— Увольняйтесь. Поступите в школу, проучитесь до девятого класса, и вас тоже направят сюда!

Оба переглянулись, и Бобчинский воскликнул:

— А что, это идея! Вот только справимся ли мы?

Как ты думаешь?— Они насмешливо уставились на меня.

— Действительно, непохоже! — рассердился я.— Разве что до пятого класса дотянете!

Добчинский кувалдой несколько раз стукнул по змеевику, надеясь, что от вибрации накипь отвалится.

— Пока ты, парень, в своем девятом классе барахтаешься,— обиженно произнес Бобчинский,— мы уже на втором курсе института. Если хватит извилин, сообрази, как с умными следует разговаривать!

Подошел Иван Семенович.

— Ну как, молодежь? Скорее заканчивайте, сейчас назад потащим!

— Так у нас уже все готово! — сказал Бобчинский.

Наш змеевик блестел на солнце, как полированный.

— Молодцы! — похвалил Иван Семенович.

За час до обеда, когда мы уже заканчивали работу, примчался Петрович. Он ворвался в бойлерную и зашумел:

— Ну как? Что? Кончаете? Давайте, давайте! Молодцы!

Пошатываясь, он лез ко всем, хватался то за молоток, то пытался затягивать гайки, давал советы, указания, командовал — словом, старательно мешал людям. Все терпеливо отмахивались от него, несердито вздыхали.

Но вот Иван Семенович отложил инструмент и сказал сухо:

— Ну-ка выйдемте, Петрович!

— Куда? — не понял мастер.

— Выйдемте! — строго повторил Иван Семенович.

Все сделали вид, что заняты работой и ничего не слышат. Петрович пожал плечами и пошел вслед за Иваном Семеновичем. Василевский, затягивая последние гайки, ехидно сказал:

— Сейчас, понимаешь, Петрович получит похмелиться!

— Надолго ли! — вздохнул Тетя Петя.

Я спросил негромко у Игната:

— А почему Иван Семенович так командует?

Игнат подмигнул.

— Парторг цеха!

Я обрадовался. Сейчас этому алкоголику попадет как следует! Работу мы закончили уже без Ивана Семеновича и мастера. Пустили пар, и бойлеры затрещали от конденсата.

Всю вторую половину дня я протаскал с Василевским двухдюймовые трубы. Нас Петрович заставил. Теперь мастер ходил сосредоточенный и деловитый. Видно, Иван Семенович вправил ему мозги. Даже приятно смотреть на его грустное лицо.

И тут мне пришла отличная идея: а что если про мастера рассказать все Ивану Семеновичу? Как-никак, ведь он парторг!

Но когда я вечером сообщил свой план парням, Биль вспыхнул.

— Никакие парторги не нужны. Мы сами должны с ним посчитаться.

— Предлагаю, парни,— Академик очками, как локаторами, стал обводить наши лица,— собрать весь класс, позвать этого мастера и поговорить с ним.

— А если он не пойдет? — спросил Дипломат.

— Выкрасть его! — воскликнул я.

— На этот грабеж я пойду с удовольствием! — заулыбался Мальчоныш, потирая ладони.

Сэм решительно воскликнул:

— Ну, а если и это не поможет, то я сам поговорю с ним!

Он сказал так твердо и уверенно, что хотелось побежать и поздравить Анну Андреевну.

8

С самого утра я поцапался с Петровичем.

Когда он стал распределять работу, каждый слушал его внимательно, переспрашивал и понимающе кивал. Во мне все кипело. Как можно подчиняться такому двуличному и грязному типу? Да он не имеет права работать мастером. Ведь мастер на заводе — как учитель в школе. А значит, такого Петровича надо гнать в шею! За проходную. В душе моей все выло. И, чтоб заглушить этот вой, я ни с того ни с сего со всей силы хватанул молотком, который был у меня в руке, по верстаку. Верстак железный, и удар прозвучал, как выстрел. Петрович, Иван Семенович, Василевский и Игнат от неожиданности одновременно вздрогнули и повернулись ко мне. Я не мог сдержать улыбки.

— Ты что, понимаешь, с ума сошел?! — взвизгнул Василевский.

— Заболел, наверное! — хмуро сказал Игнат и тут же расцвел: — Свинкой!

Петрович повернулся к Ивану Семеновичу и ласково распорядился:

— Иван Семенович, молодому человеку, видать, силы деть некуда. Возьмите его себе!

Я взглянул на Петровича:

— Не себе, уважаемый товарищ мастер, а к себе! Социальная грамматика! Мы — люди! Или вы привыкли иметь дело с вещами, как на работе, так и дома?

Все с удивлением уставились на меня. Кажется, мастер сейчас вздрогнул гораздо сильнее, чем от моего удара молотком. Однако рядом стояли люди, и поэтому он, тяжело просверлив меня взглядом, повернулся к Ивану Семеновичу.

— Вот современная молодежь,— хрипло сказал он.— Слово произнеси — исколют. Ну точно твои ерши!

— Да уж! — кивнул Иван Семенович.— На хлеб не клюют, подавай им только жирных червей!

Было непонятно: Иван Семенович соглашался или подначивал Петровича. Мастер сощурился, затем круто повернулся и ушел с участка. Игнат, Василевский потянулись за ним. Мы остались с Иваном Семеновичем на участке одни. Я посмотрел на него, он как ни в чем не бывало подошел к большому насосу и спокойно сказал:

— Давай поставим его на верстак.

Мы начали разбирать насос. Работали молча. Вместе откручивали шпильки. Я спешил, стараясь показать, что уже привык к инструментам, к работе. Иван Семенович, кажется, все делал медленно, с какой-то внешней безразличностью и даже равнодушием, однако работа у него двигалась намного быстрее. Вдруг он неожиданно спросил:

— За что ты его так?

— Кого?

— Петровича. Он ведь и старше тебя, и мастер, да и вообще...

— Да так...— взглянул я на Ивана Семеновича.

— Что-то ты, брат, темнишь,— снисходительно заметил он, вытаскивая из насоса старую прокладку.— Умничаешь!

— А здесь много ума и не надо! — спокойно ответил я, выбивая из насоса подшипник.

— Понятно! — не глядя на меня, так же спокойно кивнул он.— Так сказать, я грамотный, а вы здесь все черные лошади. Работайте, дорогие мамы и папы, а мы скоро кончим практику — и на солнце. Заводской труд не для нас. Мы будем инженерами или космонавтами. Э-эх, губит вас школа. Она ведь что? Заводом вас пугает! Как плохие родители капризных детей — милиционером. Чуть что сразу:

«Плохо будете учиться — после школы пойдете на завод». Или так: «Ребятки, вы вначале в институт попробуйте, а уж если не поступите, тогда на заводе годик поколачивайтесь и опять пробуйте. Для института, ребятки милые, упорство требуется, сила воли».

Говорил он спокойно, негромко, даже не глядя в мою сторону, будто для себя.

— Что же тут плохого? — так же, не глядя на него, спросил я.

— Да, конечно, ничего! — Иван Семенович плоским напильником зачищал ржавчину на насосе.— Конечно, ничего. Только, сдается мне, никому такие на заводе не нужны — всякие временные и прочие неучи. Сейчас окончивший десятилетку со средними отметками скорей поступит в техникум или там в институт, чем станет хорошим специалистом на заводе! Здесь, милок, все своими руками делай. На шпаргалку не надейся. Нет, конечно, оно можно и без десятилетки на заводе работать. Можно. Ремесленническую работу будешь выполнять. А чтоб уж толковую, так иди учись. Да без грамотности простую трубу как следует не загнешь.

На участке показался Петрович. Он подошел к нам и торопливо сказал:

— Иван Семенович, этого,— он кивнул в мою сторону,— молодчика-пулеметчика я заберу от тебя. Работа срочная есть.

Петрович повел меня в сторону заводоуправления. Прошли немного молча, затем он негромко сказал:

— А ты, я вижу, бойкий парень!

— Такие наши годы! — небрежно пожал я плечами.

— Вот, вот. То с магазином накуролесил, теперь вот...— Он замолчал.

— Что теперь вот? — спросил я насмешливо.

— Болтаешь много! — сердито сказал он.— Что ты там плел насчет людей и вещей? Будешь, голубчик, болтать, устрою такую практику, что ты у меня не то что в вещь превратишься, а в вещество!

Мы остановились и с ненавистью смотрели друг на друга.

— Вы меня не пугайте, товарищ мастер! Я вам не жена! Или у вас хмель еще не вышел?

Он побледнел и тихо произнес:

— Вон ты как? Понятно, вояка! Ну хорошо!

Он подвел меня к Василевскому, который с грустным лицом ждал нас у заводоуправления.

— Вот, привел тебе помощничка,— сказал ему Петрович, кивая на меня.— Вы уж как следует поработайте! — Он взглянул на меня насмешливо, повернулся и ушел.

Работу для меня Петрович откопал аховскую. Обалдеть можно. Предстояло проверить в заводоуправлении все смывные бачки в женских туалетах. Вместе с Василевским. Это был ответный выстрел Петровича. Даже залп. Осколки зацепили беднягу Василевского. Ему, стесняющемуся говорить с женщинами, предстояло теперь страдать из-за меня. Если же я откажусь от работы, то у Петровича будут все основания вышвырнуть меня с участка как разгильдяя, не выполняющего задания мастера. И мы тогда не спасем Анну Андреевну.

— И много там этих смывных бачков? — виновато спросил я, когда мы направились к заводоуправлению.

Он грустно посмотрел на меня и вздохнул:

— На наш век хватит. При каждом унитазе, понимаешь, есть!

Мы вошли в заводоуправление. Это — огромное пятиэтажное здание, где находится все заводское начальство, бухгалтерия, касса и прочие нужные органы. Рабочие называют его «Белый дом». Где-то здесь работает и Академик.

Мы медленно поднялись на второй этаж. Длинный большой коридор залит дневным светом. По обе стороны коридора — кабинеты. В самом конце две глухие двери, на одной из них нарисован мужчина в элегантном смокинге, на другой — кокетливая женщина. Опасаясь, что кто-нибудь увидит, как мы вламываемся в дверь, на которой висит изображение дамочки, я быстро схватился за ручку двери, но Василевский с ужасом вцепился мне в плечо.

— Стой! А вдруг там уже кто-то есть?! — испуганно воскликнул он и покраснел, как рак.

Я отпрянул от двери, словно она была под напряжением. Мы переглянулись: что делать?

— Может, постучать? — неуверенно спросил он.

— Конечно! — разозлился я.— И будем ждать, пока нам ответят: «Войдите!»

Мы стояли, как заговорщики, и смотрели друг на друга. Было стыдно, противно и тошно.

— А, черт, я постучу! — решительно воскликнул Василевский и направился к двери.

Он постучал, как по хрустальной вазе. Никто, конечно, не отозвался. Он постучал сильнее. Я предательски отошел в сторону. Он повернулся ко мне.

— Войдем, что ли? — и покраснел, словно в присутствии женщины сказал что-то неприличное.

— Не надо! — прохрипел я.

Василевский грустно взглянул на меня, будто прощался навсегда, открыл осторожно дверь и с порога громко и противным голосом запел:

— Вот идут сантехники! Чинить будут смывные бачки. Это мы, сантехники, а не хулиганы!

Для пущей убедительности он свое пение начал сопровождать бряцаньем инструментов. Затаив дыхание я ждал истошного женского крика. Однако на арию никто не отозвался. И тогда я пулей вонзился за ним. Первым делом я с ходу изо всех сил прижал спиной дверь. Василевский, уже освоившись, повернулся ко мне.

— А ты разбираешься в смывных бачках? — спросил он почти весело.

Его веселость разозлила меня.

— Еще бы! С самого рождения!

— Понимаешь, тогда ты лучше встань там, в дверях, и никого пока сюда не пускай. А я тут, понимаешь, быстро!

Я, не раздумывая, с радостью выскочил из туалета. Василевский, полностью успокоившись, начал работать, даже насвистывая. Я стоял, как кретин, у женского туалета и озирался. Но тут меня ошпарила мысль: а если кто-нибудь из женщин направится сюда, как и о чем я буду беседовать с ними? Нет уж, лучше подпирать дверь с той стороны. Я вновь очутился в туалете. На скрип двери из кабины вылетел ошарашенный Василевский. Увидев, что это я, он в сердцах сплюнул:

— Что ты танцуешь здесь? Напугал, понимаешь!

Взглянув на его покрасневшее лицо с вытаращенными глазами, я улыбнулся.

— Еще, понимаешь, смеется!

На третьем этаже мы работали уже спокойно. А на четвертом спели перед дверью серенаду про сантехников, а не хулиганов так бодро, словно выступали на концерте. К счастью, никого нигде не было. И только на пятом этаже, потеряв бдительность, открывая дверь во время исполнения романса, мы увидели двух девушек. Они курили. Мы замерли, будто нас выключили.

— К вам, понимаешь, можно? — заикаясь и краснея, наконец нашелся Василевский.

Та, что повыше, удивленно вскинула брови. Маленькая насмешливо кивнула:

— Еще спрашивает! Конечно!

Василевский окончательно смутился, запутался и выдохнул:

— Мы, понимаешь, смывные бачки...

Девушки направились к выходу. Маленькая огляделa нас.

— Что ж не понять! Очень даже похожи!

Они спокойно вышли.

Когда мы возвращались на участок, Василевский решительно сказал:

— Все! Больше никогда не соглашусь. Пусть посылают Тетю Петю. Это его работа!

Бедный Василевский, ты и не предполагаешь, что все это из-за меня. Но я только спросил:

— А что, Тетя Петя не стесняется?

— Тетя Петя? — переспросил Василевский.— Да он, понимаешь, специалист по кранам, унитазам и смывным бачкам. Он в туалете, как у себя дома.— И с завистью вздохнул: — Все женщины завода с ним здороваются!

На участке нас ждал Петрович.

— Вот и молодцы! — сказал он, когда мы доложили об окончании работы, и ехидно посмотрел на меня.— Люди вам скажут спасибо! А теперь, Василевский, ступай к Игнату на помощь, он в компрессорной. А ты, мальчик, возьми-ка кувалдочку, зубило и пойдем со мной, работка важная есть.

Он молча провел меня к бойлерной, здесь что-то прикинул, подошел к стене инструментального цеха и отметил мелом квадратики.

— Пробьешь дыры насквозь,— приказал он сухо.— Так, чтоб можно было просунуть двухдюймовую трубу. Сегодня не сделаешь—утром оставишь всю бригаду без работы. Это, конечно, трудней, чем язычком молотить, но ты уж постарайся, а иначе я к директору школы пойду!

Он повернулся и, не дав мне возможности слова сказать, ушел. Меня трясло от бешенства. Но надо терпеть. Хотя бы ради того, чтоб все ему потом вернуть. А пока нужно во что бы то ни стало выполнить его задание.

Я вздохнул, приставил к нарисованному квадратику зубило и стукнул кувалдой. Зубило отпружинило назад. Стенка была толстая, кирпичная, а сверху обмазана слоем штукатурки, которую, кажется, невозможно пробить. Я ударил еще несколько раз. Зубило чуть-чуть погрузилось в цемент, осыпало его немного, но дальше не шло. Я разозлился и начал лупить изо всех сил. Бил зло, с остервенением, долго, так, что нагрелось зубило, однако еле-еле пробил до кирпича. Бог ты мой, одному человеку на эти пять дыр надо по крайней мере несколько дней. Что он, издевается надо мной?! Я отшвырнул на землю кувалду с зубилом и уселся на камень. Пусть гонит с участка, идет к директору, куда хочет, но я не намерен грыжу получать. Это он просто мстит мне. Я поднял руку — ныло плечо. Махать пятикилограммовой кувалдой — отупеешь. К черту, буду делать не спеша, сколько смогу, столько и ладно! Я поднял зубило, кувалду и принялся вновь колотить. Кувалда, кажется, стала тяжелей, и взмах руки неширокий Я вспотел, крошки откалывавшегося цемента брызгали в лицо. Сзади меня изредка проезжали автомобили, трактора, проходили рабочие. Из-за угла выскочил Петрович и подлетел ко мне. Он долго смотрел, как я машу кувалдой, еле заметно усмехнулся и бодро воскликнул:

— Еще ни одной не пробил! Ну, даешь! — И опять умчался.

От злости я со всего маху саданул по зубилу, кувалда соскочила и больно врезала мне по руке. То ли от удара, то ли от отчаяния, охватившего вдруг меня, я вскрикнул, уронил зубило, стал рубашкой утирать пот и, кажется, слезы. От унижения, обиды, боли и беспомощности. Мне почему-то казалось, что Петрович сейчас сидит где-то и хохочет, как ловко унизил меня. И тут вдруг пронзила мысль: собственно говоря, он уже достиг цели, если заставляет меня так психовать! Нет. Только если я спокойно и уверенно буду выполнять работу, только тогда он будет чувствовать, что не унизил меня, не отомстил. Я успокоился и стал продолжать работу. Штукатурка с первого квадрата уже сбита, а кирпичи как ни тяжело, но все-таки откалываются легче. Я уже совсем успокоился и увлекся большим куском кирпича, когда услышал сзади себя глухой голос:

— Так ты, парень, до утра будешь дырку колупать!

Я оглянулся. Какой-то пожилой лысый мужик в комбинезоне смотрел на меня.

— Ты возьми шлямбур! Зубило не годится! Шлямбур есть?

— Сейчас посмотрю!

Незнакомец кивнул.

— Давай, притащи!

Я побежал на участок, повторяя про себя на ходу: «Шлямбур, шлямбур». Я не то что не видел его никогда, но и первый раз слышал это слово. На участке никого не было. Только Игнат варил фланцы. Увидев его, я обрадовался.

— У вас есть шлямпер?

— Чего? — поднял он на меня лицо в очках.— Что такое шлямпер? А, шлямбур?—Игнат, конечно, захихикал.— А зачем тебе шлямбур?

— Петрович дырки в стене заставил пробивать. Целых пять штук. Приказал сегодня кончить.

Он погасил горелку и направился к верстаку. Отомкнул его и подал мне небольшую тонкую трубку. С одной стороны она заварена наглухо, с другой — острые зубья.

— Но если назад не принесешь! — нестрого пригрозил Игнат.— В карбид превращу. Это я для дома сделал! Смотри, ты мне и рукавицы новые должен!

— Честное слово, не потеряю! — обрадованно воскликнул я и, уже уходя, спросил у него:—Игнат, а сколько дырок в стене может рабочий в день сделать?

— Смотря какая стена!

— Ну вот как, например, в бойлерной!

Он задумался:

— Штук десять — двенадцать!

Я поразился. Десять — двенадцать. А мне казалось, одну-две. Как же надо пахать тогда?

Незнакомец терпеливо ждал меня и курил.

— Ты что, делал его? — хмуро спросил он, оглядывая шлямбур, и удовлетворенно кивнул.— Хороший инструмент! Смотри!

Он приставил его к кирпичу и уверенно стал лупить по шлямбуру кувалдой. Тот начал медленно погружаться в стену. Дядька после каждого удара не спеша вращал шлямбур, затем вытащил и высыпал из него красную пыль и небольшие кусочки кирпича. Потом еще раз вставил, несколько раз ударил, и шлямбур со звоном нырнул в стенку. Большая дырка вспыхнула в стене. Я с уважением и радостью посмотрел на незнакомца.

— Вот так! — сказал он, передавая мне инструмент.

— Спасибо! Большое вам спасибо! — взволнованно пробормотал я.

Уходя он бросил:

— И рукавицами держи. Руки отдавишь.

Может, оттого, что совершенно незнакомый рабочий помог мне, или потому что работать со шлямбуром гораздо легче, но работа пошла живее. Я уже пробил вторую дырку, когда тихонько вновь явился Петрович. На сей раз он ничего не сказал, только внимательно посмотрел на меня и ушел. Когда я

принялся за третью дырку, время уже подходило к обеду. Я порядком устал. Однако что-то внутри меня все время шептало: надо выдержать. Тяжело? Верно. А как люди работают по восемь часов? И неделями, месяцами, годами? Они привыкают, и тогда не так тяжело. Может, они крепче физически, но ведь когда-то и они так же начинали. Я лупил изо всей силы. Размах руки был широк, появилось что-то вроде второго дыхания. Я работал уже без рубашки и майки, пот поливал лицо, а я бил, бил, бил. Вдруг сзади меня рявкнул хор.

— Обедать пора!

Я оглянулся. Биль, Сэм, Мальчоныш, Академик и Дипломат выстроились в шеренгу и скалились.

— Каждый обед, Дик, тебя надо искать! — с отчаянием воскликнул Биль.— Хорошо, что твой сварщик сказал, где ты!

— Говорит, какой-то шлямпер бьет! — сверкнул очками Академик.

— Сэм уже кулаки приготовил,— хмыкнул Мальчоныш.

Я молча слушал их остроты.

— Сегодня обедаем в столовой! — подмигнул Мальчоныш.— Можешь заказывать сколько хочешь блюд!

— Э-з-з, нет! — вскричал Сэм.— Я договаривался, каждому только три блюда!

— Сэм платит! — объявил Биль.— Он мне проиграл. Я больше дырок просверлил до обеда. А спорили на обед для всех!

— Никуда я, парни, не пойду! — тихо сказал я.

Все переглянулись.

— Что случилось? — спросил Сэм.

Я рассказал все. Только, конечно, умолчал про женский туалет.

— И в обед буду работать! Сегодня пробью все пять дырок! — сказал я твердо.

— Нет, надо с мастером кончать! — решил Биль.

— Вот сегодня с ним и потолкуем! — резанул Дипломат.

Академик, молча слушавший всех, поправил очки, поднял с земли кувалду и шлямбур, подошел к стене и начал вырубать дырку. Парни переглянулись и стали снимать рубашки. Работали все молча. Как только один уставал, другой тут же подхватывал и с новой силой начинал бить. Я смотрел на парней и думал: может быть, нам когда-нибудь придется расстаться, но этого я никогда не забуду, никогда я не забуду урока настоящей дружбы. Последнюю, пятую, дырку пробил Мальчоныш. А не прошло и тридцати минут. Он ударил, шлямбур зазвенел, и Мальчоныш закричал:

— Есть! Парни, если бы не бесплатный обед, я принялся бы за шестую! Пусть лопнет от злости!

Несмотря на то, что у нас еще было в запасе много времени, одевались мы быстро. Когда уже стали уходить, я смущенно пробормотал:

— Парни, стойте... я... ну... в общем, спасибо!

— Перестань!— прикрикнул Академик, подолом рубашки протирая запыленные очки.— Можно подумать, ты бы поступил на нашем месте иначе... если, конечно, смотреть в корень.

Около столовой у клумбы работала Манька. Нас она увидела еще издали, распрямилась и, улыбаясь, смотрела, как мы приближаемся. На Академика было стыдно глядеть. Он не видел, куда идет, на лице блуждала улыбка идиота.

— Парни! — сказал он радостно.— Я обедать не хочу! Я уже поел сегодня, ладно?

Мы переглянулись и, словно по команде, схватили его за руки, за плечи и потащили мимо Мани к столовой.

— Что вы делаете! — закричал он, упираясь.— Вандалы! Крестоносцы! Караул! Изверги! — И уже в дверях столовой бросил: — Прощай, Марина!

Маня стояла среди цветов и, откинув голову, громко хохотала.

Сэм оплатил нам всем обед. Но чтоб не обанкротить Сэма, мы сбросились и купили ему обед. Сидели все за одним столом, смеялись. Вдруг Сэм весело сказал:

— Я, парни, завтра до вечера есть не буду!

Завтра. Завтра у Мальчоныша великий день! День рождения. Ему наконец-то исполняется шестнадцать! Он так много говорит об этом, словно, как родился, стал мечтать об этом дне.

— Что ж тебе подарить? — лукаво спросил Академик у Мальчоныша.

— А я откуда знаю,— улыбаясь, пожал он плечами, принимаясь за компот.— Вас пятеро, вы и думайте! Только учтите, я до обалдения люблю подарки.— Он подложил ладонь под щеку и задумчиво говорил:— Вот когда я был маленьким, мечтал, чтоб на день рождения мне подарили пилотку. Обыкновенную пилотку. Я канючил у родителей, требовал у родственников, намекал соседям. И знаете, никто не принимал это всерьез. Дарили что угодно. Пистолеты, карандаши, альбомы, «конструкторы», книги. В общем, интересные и красивые подарки, а я, принимая их, благодарил, как меня учили родители, шел в коридор и горько плакал. Хочу пилотку — и все. Два года терзался, а потом успокоился. Сэм, оставь глотнуть компотику! — вздохнул он.

— Вторую кружку? — ужаснулся Сэм, но свой компот пододвинул ему.— Ну, обжора ты, Мальчоныш! Парни, не засиделись ли мы?

Все поднялись и, отдуваясь, потянулись из столовой. Спускаясь по лестнице, Мальчоныш воскликнул:

— Дорого бы я дал, чтоб взглянуть на рожу мастера, когда он увидит, что Дик до обеда пробил все дыры!

У столовой в клумбе копалась Марина. А может, ждала нас, то есть Академика. Он вышел из столовой, увидел ее и через скамейку, травяной газон, проволоку, как танк, ринулся к ней. Мы переглянулись. Марина улыбалась. Нас она уже не видела.

— Ну, парни, чао! — сказал Мальчоныш.— Ирина, наверное, заждалась!

Мы разбрелись по своим цехам.

Обед уже кончился. Бригада собиралась расходиться по рабочим местам, когда я появился на участке.

— О, герой наш! — воскликнул весело Петрович, глядя на меня холодными глазами.— А я тебя ищу!

— Уже все пять пробил! — не выдержал я и с издевкой похвастался. Я ожидал, конечно, вытаращенных глаз, отвисшей челюсти, насмешки, но Петрович даже бровью не повел. Он спокойно сказал:

— Тогда ступай с Тахтой! Помоги ему!

Если уж Мальчоныш хотел взглянуть на ошарашенную рожу, он бы мог сейчас взглянуть на мою. Рядом стоящий Тетя Петя хихикнул:

— Ступай, ступай! Вдвоем спать на ходу веселее!

Бригада разбрелась. Тахта, шаркая ногами, медленно подошел ко мне и лениво сказал:

— Пойдем, что ли! Главное — это быстро уйти на рабочее место, а там можно и не спешить! — Он с присвистом засмеялся и добавил: — Рукавицы захвати, они ведь чугунные и тяжелые!

— Кто? — взглянул я на него.

— Да батареи! На третий этаж таскать надо!

Это был еще один выстрел со стороны Петровича. Он видел пробитые дырки и решил не реагировать, а теперь вот подсунул мне работку будь здоров, да еще с таким кадром, как Тахта. Я разозлился. Все равно не выйдет у него ничего. С Тахтой ра-

ботать — пожалуйста! Буду! Батареи таскать на третий этаж — пойдем! Посмотрим, чья возьмет. Мы еще своего выстрела не сделали. Всем классом бабахнем. А не поможет, отправим Сэма. Для рукопашной. Пощады не будет. Человек, который может использовать свое положение для мести, не заслуживает сострадания. Он способен на все.

Как только мы пришли, Тахта плюхнулся на батарею и, сощурив от удовольствия глаза, смачно сказал:

— Перекур! Садись!

Во мне кипела злость. Петрович готов был меня унизить женскими туалетами, вымотать отверстиями в стене, а теперь насмехается тем, что послал напарником к Тахте. Я с неприязнью взглянул на уже склонившего голову Тахту и сердито сказал:

— Я не курю, Тахта! И смолите быстрее!

Он медленно поднял голову.

— А куда спешить!— засмеялся он.— Петрович норму не заказывал!

— Мне плевать на вашего Петровича!— крикнул я.— Слышите, плевать! Давайте работать!

Я рванул один конец батареи. Тахта удивленно посмотрел на меня, аккуратно загасил окурок, спрятал его в пачку, затем с кряхтеньем встал и поднял второй конец. Батареи действительно дико тяжелые. По семь секций. Каждая секция весит семь килограммов. Сорок девять килограммов нужно затащить на третий этаж и разнести по пустым огромным залам. Здесь оборудуют какую-то лабораторию.

После третьего захода я понял, что нет на свете лучшей работы, чем пробивать в стене дырки. Тахта пыхтел рядом, как паровоз.

— Все! Перекур! — воскликнул он, тяжело опускаясь на батарею.

Но я решил заставить его работать. Пусть не думает, что ему повезло, раз я мальчишка. Я поднял конец четвертой батареи и приказал:

— Берите!

— Перекур!— категорически заявил он.

— Я вам сказал, что не курю!— крикнул я так зло, что он быстро сунул пачку в карман и поднялся.

С каждой ступенькой шагать все тяжелей и тяжелей. Дрожали ноги, какая-то незнакомая сила разжимала пальцы, не хватало воздуху. Я закусил губу, в висках стучало только одно: донести, донести, донести. Тахта тихо кряхтел сзади. На пол батарею мы не поставили, а швырнули. Хотя это запрещено — пол деревянный. Мы не могли отдышаться. У меня горели руки. Тахта раскашлялся. Кашлял он долго, хрипло, со свистом, перегнувшись пополам.

— Все курево!— вскрикивал он.— Проклятье!

Наконец он успокоился. Спускались по лестнице медленно. Вдруг он протяжно спросил:

— Ты что, сумасшедший? Кому это все надо?

— Мне!— рявкнул я.— Понимаете, мне!

Он взглянул на меня своими сонными глазами и ничего не сказал. Мы вышли из подъезда. Я плюхнулся на ящик. Тахта подошел к батарее и приподнял конец.

— Берись!— кивнул он.

Кажется, от удивления у меня волосы поднялись. Я во все глаза смотрел на него. Сил подняться не было. А он ждал.

— Раз надо! — сказал он.

Я не мог ответить ему: перекур! У меня не было на эти слова языка. И я поднялся. Нет, мы не несли батарею, мы просто держались за нее. Держались всем телом, взглядом, вздохом. Держались и толкали вперед. Нас заносило. Со стороны могло показаться, что работают два пьяных. Батарею мы швырнули так, что пол затрещал. Спускались вниз так же медленно, как и поднимались наверх. Во всем теле была такая тяжесть, словно батарея была еще с нами. Тахта, спотыкаясь, подошел к груде батарей и дрожащими руками с трудом поднял конец.

— Бери!— хрипло приказал он.

— Не могу!— отмахнулся я.

— Это надо тебе! Берись!

— Не могу!— Я грубо выругался.

— Берись, гаденыш!— вдруг закричал он зло.— Берись, баба, трус, шваль. Это надо! Понимаешь, надо!

И я поднял. Не знаю, как донесли, не знаю, как спускались назад, но, когда вышли из парадного, меня начало рвать. Долго и сильно. Тахта стоял рядом, поддерживал за плечи и ласково приговаривал:

— Ну, ну, сынок! Выдержал! Молодец! Ничего, ничего, сынок! Главное, выстоял!

Он отвел меня к ящику, усадил. Сам сел рядом. Я ничего не соображал. Все было, как в тумане. Откуда-то издалека слышался его ленивый голос:

— Я думал, ты себя проверить хочешь! Чтоб как мужчина, значит. Это бывает у людей. Особенно в ваши годы. Молодец! Выстоял!

Он куда-то ушел, долго не возвращался, а когда явился, принес газировки.

— Попей!— протянул он воду.— Полегчает!

Я осушил до дна бутылку. И действительно, стало немного легче. Тахта лениво курил и вдруг протяжно сказал:

— Эх-х-х, хорошо было на войне. Старшина покормит, и оденет, и обует, никаких тебе забот!

Я с ужасом взглянул на него.

— Вам что ж, войны захотелось?

— Да не войны!— приоткрыл он один глаз.— Старшину бы. А войну, кто ж ее хочет. Пять лет в ней купался...

— Какой-то вы...— сказал я, с трудом поднимаясь. Тело точно налито свинцом, в голове гудело. Мое рабочее время кончилось, ребята, наверное, уже ждут на проходной.— Все. Мы работаем на три часа меньше. Я пошел домой.

— Это хорошо!— кивнул Тахта, не глядя.— А я здесь побуду. Петрович явится — так я ж не могу один таскать!

Действительно, не понять, что он собой представляет.

Давила какая-то тяжесть. Было все безразлично. Как в тумане, я отвечал парням на вопросы, что со мной, умудрился в таком состоянии по дороге помириться с Жанкой и даже назначил ей свидание на вечер. Троллейбусом добрался до дома. Лень было возиться с ключом. Я позвонил.

Открыл Игорь.

— А где ключ?— спросил он настороженно.

— На работе оставил,— ответил я и прошел к себе.

Я упал на диван и мгновенно уснул. Проснулся, когда будильник показывал шестой час. Чуть не опоздал к Жанке. Быстро вскочил и тут увидел, что раздет и спал на простыне и под одеялом. Что, предки с ума сошли? Я вышел на кухню. Игорь делал бутерброды.

— Вы зачем меня раздели?— спросил я раздраженно. Он повернулся ко мне и сухо сказал:

— А я хотел уже идти будить тебя. На работу пора.

— Какую работу? — Я ничего не понимал, но вдруг страшная догадка пронзила меня.— Который теперь час?!— крикнул я.

— Не шуми! Мать разбудишь. Шесть часов!

— А что сейчас — сегодня или вчера?

Губы Игоря задрожали от смеха.

— Сейчас послезавтра!

— Ну правда!— топнул я босой ногой.

— Да утро сейчас! — улыбнулся он.—Понимаешь, сейчас сегодняшнее утро! Во, дожили, объясняемся, как папуасы!

Первый раз в своей жизни я проспал шестнадцать часов подряд. Вот это номер.

9

Больше работать не хочу. Хватит пахать! И так кости ноют, будто я впервые играл в футбол. И ладони горят от ссадин. Опять сегодня вкалывать, тягаться с Петровичем. А что изменится в нем, если я выполню любое его задание? Да ничего! Так зачем упираться? И потом, я здорово устал. Даже рукой пошевелить не хочется. А ведь нас загнали на завод, чтоб мы воспылали к нему любовью. Но какая же любовь, если от тебя сейчас требуют только одно — паши! Не ходи никуда, не смотри ни на что. Твой мир — верстак, станок или напильник. Тут не то что новое узнаешь, забудешь, что знал. Пошли они все. Надоело. Хочу к ребятам. Тем более, что я вчера все проспал. При мысли о парнях мне захотелось их увидеть. Побыть с ними. И Мальчоныша надо поздравить. А вся эта работа, завод, рабочий люд — все это мир открытых дверей, мимо которого пока лучше всего пройти. А то, если сунешься, замучают!

Участок сборки цепей, на котором отбывал практику Мальчоныш, зажат между кузнечным цехом и компрессорной. Длинный деревянный барак с широкими кривыми воротами. Я заглянул внутрь. В нос ударил резкий запах какой-то смеси. С потолка лился дневной свет неоновых ламп. В центре стоял длинный железный стол. По всему участку аккуратно расставлены металлические бочки, с которых, как змеи, свисают черные цепи. Такие же цепи лежат на столе с двух сторон. Здесь же, на высоких стульях сидят знаменитые женщины Мальчоныша. Они накидывают на цепи тонкие металлические пластинки и гайками прикрепляют их. Женщины слаженно и негромко поют «Оренбургский платок». Все одеты в большие брезентовые костюмы, головы в платках наклонены так, что не видно лиц и не понять, откуда несется песня. Мальчоныша на участке не было. Вдруг одна из поющих подняла голову, заметила в воротах меня и звонким голосом крикнула:

— Эдуард Ашотович! Пожалуйте сюда!

Все прекратили петь, подняли головы и, взглянув в мою сторону, нестройно загалдели:

— К вам гости!

— Эдуард Ашотович!

— На выход!

Кто-то из них пронзительно свистнул, все засмеялись. Я испуганно отступил назад. Из боковой двери выскочил Мальчоныш. Увидев меня, он заулыбался и махнул рукой.

— Иди, не бойся!— крикнул он весело.

Я двинулся к нему. Сзади чей-то голос протяжно и громко произнес:

— Хорошенький!

Я покраснел. Мальчоныш заметил это и засмеялся. Он быстро втащил меня в помещение. Это была комната отдыха. На столе лежал упакованный торт, три красные розы и маленькая коробочка. На стене висел портрет Мальчоныша — очень похожий — и надпись: «Мне 16. Скоро, брат, на пенсию!».

— Ирина сама рисовала!— воскликнул он с гордостью.— Я случайно проболтался, вот они все и подарили. Торт, цветы и комплект авторучек. Дик, правда, ужасно приятно получать подарки?! Они еще хотели, чтоб я сегодня не вышел на работу, но я отказался!

Мальчоныш был в приподнятом настроении.

— Мальчоныш... Эдик... В общем...— Я протянул ему руку.— Поздравляю, желаю там...

— Да ладно, Дик!— перебил он меня.— Все ясно! Спасибо, дружище! Значит, вечером ко мне?

— Конечно, ты ж подарки ждешь!

Открылась дверь, и вошла женщина, которая первой увидела меня. В руке у нее был нож.

— Эдуард Ашотович,— сказала она весело.— Вы бы товарища тортиком угостили!

— Спасибо!— испуганно воскликнул я, словно мне предлагали кого-то зарезать.

— Спасибо — да или спасибо — нет?— спросила она, улыбаясь, и, сорвав платок, принялась распаковывать торт.

Я ахнул. Без платка это была молодая красивая женщина. Ее синие глаза сияли добрым веселым светом. Черные брови изогнуты, как турецкие ятаганы.

— Да он не хочет, Ирина! — смущенно пробормотал Мальчоныш.

Ее яркие губы отомкнули улыбку.

— Конечно, Эдуард Ашотович, вы кого угодно уговорите! А мы ему много не дадим. Нам самим нужно!

Ирина отрезала большой кусок, подхватила платок и вышла. Мальчоныш восхищенно проводил ее взглядом, затем повернулся ко мне и с гордостью сказал:

— Это и есть Ирина. Они все меня сегодня по имени-отчеству зовут. Дик, ты ешь живее, поможешь мне цепи им поднести. Ладно?

Я кивнул. Торт был ужасно вкусный, и я уже заканчивал есть, когда Мальчоныш воскликнул:

— Черт, Дик, ты так аппетитно жуешь, дай откусить!

Он откусил, улыбнулся и потащил меня на участок. Мы вышли, оба жуя. Работницы повернули к нам головы и заулыбались. Мальчоныш деловито подошел к бочке с цепями, и мы начали кантовать ее к углу стола.

— Посмотри, как они работают!— шепнул Мальчоныш, когда мы тащили вторую бочку.

Женщины переговаривались между собой о делах, смотрели на нас, смеялись, а их руки метались в бешеном хороводе, и не было ни одного лишнего движения, ни одной заминки.

— Кажется, все просто!— восхищенно объяснил Мальчоныш.— А никто лучше этой бригады работать не умеет. Цепи нужны на все машины, которые выпускает завод. Так что, если хочешь знать, это самый главный участок!

Вдруг Ирина звонким голосом на весь участок задорно запела:

Ой, подружки дорогие,
Я не знаю, как мне быть.
Полюбила я мальчишку,
Буду в школу с ним ходить!

С противоположного конца стола другой голос отозвался:

Ты, сестрица дорогая,
Плюнь на мальчика свово,
Кончит он десятилетку,
И не выйдет ничего.

Ирина вновь подхватила:

Ой, подружки дорогие,
Я хожу без головы,
Я ему про поцелуи,
Он про двойки и колы!

И вдруг, широко взмахнув руками, она лихо пошла в пляс. Ноги ее выбивали дробно чечетку, медленно она приближалась к нам и, когда оказалась совсем рядом, схватила Мальчоныша и лихо крикнула:

— Эх! Проглочу!

Затем быстро в обе щеки сочно расцеловала его. Женщины засмеялись. Мальчоныш, открыв рот, смотрел на Ирину. Щеки его горели. Наконец он пришел в себя и рукавом стал усиленно оттирать помаду. Работницы засмеялись еще громче. Ирина уже стояла у стола, руки проворно закручивали гайки, а сама, запрокинув голову, звонко хохотала.

Мальчоныш вышел меня проводить.

— Во дают! — вздохнул он, видимо, еще не придя в себя.— Ну и дела! Слушай, Дик, а почему ты не работаешь?

— Работы нет!— пожал я плечами.—Да ну их. Хочу парней обойти!— Я взглянул на него и усмехнулся.— С тобой мне теперь все ясно! Съедят они тебя. Чао!

...Сварочно-сборочный цех такой огромный, что в нем могло бы смело поместиться два футбольных поля. Однако здесь расставлено множество станков и несобранных машин, разбросано столько железа, что нет ни одного свободного пятачка.

Мне повезло. У самых ворот я наткнулся на Дипломата. Он, как лихой казак на коне, вылетел из цеха на каре и, увидев меня, улыбаясь, затормозил.

— Дик, привет! — закричал он.— Ты что, только сейчас проснулся?!

— Еще сплю! — буркнул я, подходя к нему.

— А мы, понимаешь, думали, что заснул на всю практику! Сколько ты проспал?

— Шестнадцать часов!

Он вытаращил глаза, затем начал хохотать.

— Слушай, Дипломат.— Я уселся на кару.— Тебе не кажется, что все это ерунда на постном масле?

— Что?— успокоившись, спросил он.

— Ну, вся эта практика. Завод. Будто мы не можем прожить без всего этого. Да нас, наоборот, нужно заставлять учиться, чтоб мы были инженерами, учеными, чтоб могли двигать науку, технику. Послушай, ну, буду я еще одним рабочим. Ну и что? Затеряюсь в многомиллионной массе подобных, и все! А я хочу сделать что-то такое, чтобы обо мне все знали. Это тщеславие, может быть. Но я не вижу в этом ничего плохого. В конце концов мне кажется, людям нужен скорее хороший инженер, чем хороший рабочий.

Дипломат удивленно, но внимательно выслушал меня, слез с кары и сказал твердо:

— Ни фига, Дик. Ты ошибаешься. Обществу нужны хорошие люди, они будут честно выполнять свое дело, кем бы ни были. Учеными, инженерами, рабочими. И потом, неужели ты думаешь, что нас погнали сюда, чтобы мы полюбили завод и после школы всем классом ринулись сюда? Нас просто знакомят с трудом, с рабочими. Ты мне скажи-ка, Дик, лучше, почему ты не работаешь?

Я пожал плечами.

— Не хочется! Надоело! Желаю взглянуть, что вы делаете. Покатай на своей «Чайке», а?

— Куда вас?— вскочил на кару Дипломат.

— У Мальчоныша я уже был. К Сэму и Билю, шофер! Да поживее!— скомандовал я.

— Слушаюсь, ваше высочество!

Он включил скорость, и мы быстро покатили к механическому цеху.

— У тебя что-нибудь случилось, Дик?— серьезно спросил он на ходу.

— Нет, а что?

— Понимаешь, Дик, когда человек начинает философствовать, он перестает что-то делать. Вот я и подумал: не турнули тебя опять с участка?

— Можешь успокоиться, меня не турнули!— бросил я хмуро.

— Но если будешь так работать, как сегодня, у тебя еще все впереди!— заметил Дипломат.— Стоп. Приехали, ваше высочество. В конце концов, Дик, мы кое-что узнали на заводе, и за это спасибо. А вообще уже недолго осталось. Ну, я поехал за деталями, а то меня ждут на участке. И к Мальчонышу надо завернуть — поздравить ребенка! Чао!

Дипломат укатил, а я вошел в цех.

Механический цех представлял собой неописуемое зрелище. Огромное, яркое помещение залито океаном света. Мало того, что под потолком висит множество ламп, так еще через широкие окна-стены солнце посылает жаркие лучи, отчего помещение выглядит праздничным и веселым. Везде гудят станки. Их здесь столько, что, кажется, невозможно и сосчитать. Несмотря на то, что работа не очень чистая, в цехе ни мусоринки.

— Вы кого-то ищете?— раздался над моим ухом негромкий голос.

Молодой парень в очках, в халате выжидающе смотрел на меня. «Какой-нибудь остряк-самоучка из цеховой интеллигенции»,— решил я.

— Представьте себе!

— Представил! — кивнул он.— И кого же, если не секрет? Или мне это тоже требуется представить?

Он смотрел на меня насмешливо. Я ощетинился.

— А не тяжело будет?

— Вы, наверное, ищете своих товарищей по школе. Так они вон в том углу.

Очкарик с удовольствием смотрел на мое растерянное лицо и наконец добавил:

— Между прочим, они тоже вначале были такие колючие! И, кстати, для дружеских излияний есть время обеда!

— Так же, как и для не очень дружеских!— подхватил я, повернулся и пошел в сторону, куда указал мне этот юморист. Действительно, вскоре я издали увидел высокую фигуру Сэма. Он сосредоточенно наблюдал за работой станка. Неподалеку от него за точно таким же станком, чуть подавшись вперед, шуровал Биль. Я остановился и со стороны принялся наблюдать за ними. Просверлив какую-то небольшую металлическую чашку, Сэм ловко сковырнул ее в ящик, нагнулся, взял из другого ящика новую, зажал ее струбциной, направил сверло и быстро включил станок. Биль посмотрел в его сторону и укоризненно крикнул:

— И не стыдно обгонять!

Сэм улыбнулся. Вдруг он почувствовал на себе взгляд, поднял голову, огляделся. Заметив меня, закричал:

— Биль, смотри, кто к нам пришел!

— Ты только сейчас проснулся?— Биль кивнул мне.

— А вы думали, что я заснул на всю практику? Я все знаю: вы пять раз звонили! Мама меня пробовала разбудить, но — увы! Я проспал шестнадцать часов. Какие еще вопросы будут?

Сэм и Биль переглянулись. Сэм, сковырнув просверленную деталь и наклоняясь за новой, спросил:

— Биль, ну как ты находишь его?

Биль, не отрываясь от станка, ответил:

— Швах! По-моему, он часов восемь недоспал! Раздражен, будто только что разбудили!

Биль сунул голову в ящик за новой деталью.

— Стоп, парни! — крикнул я. — Вы что, так и таскаете по одной детальке?

Сэм, не выключая станка, посмотрел на меня.

— Да, а что?

— Идиоты!

В стороне стоял пустой деревянный ящик. Я схватил со станка Сэма молоток и в два удара выбил дно.

— Что ты делаешь? — заорал Биль. — Это же для тары!

Рядом раздался спокойный голос:

— Ну, а это как прикажете представлять? Безобразие!

Передо мной опять стоял тот тип в очках.

— Отвали отсюда! — отмахнулся я, торопливо подошел с фанерой к станку Сэма и сунул ее углом под станину. Получился деревянный стол.

— Вот, Сэм! — сказал я, быстро накладывая на него заготовки. — Не будешь кланяться, как дурачок!

— Эврика! — вдруг заорал на весь цех Сэм. — Биль, смотри, чего нам не хватало!

Биль взглянул на фанеру и даже подпрыгнул:

— Курчатов! Эйнштейн, Ньютон! Все гениальное просто!

Тип в очках потрогал фанеру и задумчиво сказал:

— Неплохо! Только лучше металлические приварить! И на всех станках!

— Да нет! — махнул рукой Сэм и повернулся к Билю. — Где она?

Биль уже что-то достал из шкафчика для инструментов.

— Понимаете, — объяснял всем Биль, сбрасывая на пол струбцину и прикручивая к станку какой-то агрегат. Сэм кинулся к нему на помощь. — Мы с Сэмом подумали: а что если одному работать на двух станках? Попеременно. Один работает, другой скучает. Стали мы ломать голову. Поделились с Академиком. И вот сообразили. Академик через свой отдел главного механика заказал. Ему выполнили. Все хорошо. Испробовали, но эффекта нет. Пока наклоняешься за новой деталью, станок работает вхолостую. А теперь вот, смотрите... — Они закрепили агрегат, и Биль включил станок.

— А теперь, пожалуйста! — Биль надавил на колесо, сверло вошло в направляющую трубку, станок стал сверлить, а Биль спокойно перешел к своему станку, заложил здесь чашечку и включил его. Теперь оба станка сверлили, и Биль небрежно бросил Сэму: — Отдохни, товарищ!

Тип в очках радостно воскликнул:

— Молодцы, черт побери! — Он повернулся ко мне. — И у тебя голова варит.

Я усмехнулся.

— Чтоб понять это, надо тоже голову иметь!

Сэм незаметно толкнул меня локтем, но очкарик это усек и улыбнулся.

— Ну, ну, спасибо за комплимент! — И, уходя, восторженно проговорил: — Это сколько же людей высвободить можно! Ну и молодцы!

— Ты с ума сошел! — когда умник отвалил, воскликнул Сэм. — Это же начальник цеха!

— Такой молодой! — удивленно сказал я.

— Механический хотят сделать комсомольско-молодежным. От начальника цеха до рабочего. Чтоб не старше двадцати восьми. Отказались от уборщиц, а смотри, какая чистота.

— Не дрейфь, Дик! — утешил меня Биль. — Каждый великий изобретатель имел свои причуды. Ты не признаешь авторитеты! Лучше скажи, во сколько сегодня идем к Мальчонышу?

— А вы всё приготовили?

— Конечно! — пожал плечами Сэм. — Мы же не спим по шестнадцать часов!

— Ерунда, Сэм! — пристыдил его Биль. — Мы за Дика работали, он за нас спал!

— Хорошо, парни. Схожу к Академику. Посмотрю, чем он дышит! Чао!

— Дик! — крикнул Сэм, когда я уже отошел. — А почему ты не работаешь?

Я пожал плечами.

Академик сидел в ОГМ за письменным столом недалеко от двери. Увидев меня, он приветливо замахал обеими руками.

— Чао! Дик! Молодец, что явился! Ну как, выспался?

— Ничего. Шестнадцать часов! — Я огляделся.

Народу в отделе немного. Некоторые тихо переговаривались, другие что-то писали.

— Здесь что, мозг завода? — усмехнулся я.

— Да как тебе сказать? — Академик пожал плечами. — Если смотреть в корень, то это скорее одна из его извилин! — Вдруг он оживился, покраснел и, ерзая на стуле, шепотом спросил: — Слушай, Дик, ты когда шел сюда, не видел ее?

— Кого?

— Марину!

— Нет!

— Понимаешь, Дик! — Его глаза под стеклами очков заблестели, он оглянулся: не подслушивает ли кто. — Нет, Дик, пойдем в курилку! Там никто не услышит.

Он вывел меня в коридор, потащил к двери в углу и по дороге выкрикивал, словно ему делали укол тупой иглой:

— Дик, Марина замечательная девушка! Сколько в ней тепла, души...

От переполнявшего его чувства Академик сильно пнул ногой дверь в курилку, и мы вдруг сразу оказались в дымной комнате, похожей на парну́ю. Здесь было много народу. Парни и девушки дружно курили. Какой-то высокий, худой типчик стоял у окна и что-то говорил. Не успели мы с Академиком рвануть назад, как он кинулся к нам с криком:

— Вот, вот у него спросите! Николай, скажи, хотел бы ты после школы работать на заводе?

Академик попытался вырваться, но изможденный поймал его за руку.

— Нет, стой! Отвечай!

Академик осмотрел всех и вздохнул.

— Мне в институт надо!

— А после института? — спросила девушка в брюках.

— А после института в аспирантуру! — улыбнулся Академик.

— Ну, а в принципе? — пристал худой.

— В принципе? — Академик задумался, затем помотал головой. — Нет!

— Слыхали?! — обрадовался худой. — А почему? Да потому, что здесь нет пока поля деятельности для интеллектуального ума!

Несколько человек возмутились.

— Загнул, Птицын!

— Не в жилу!

— Переборщил, интеллектуал!

Тот замахал руками.

— Нет, нет, братцы, я не в том смысле, что на заводе делать нечего умному человеку. Нет. Но сегодня заводу нужны злектроника, кибернетика, вычислительная техника. Без зтого лредприятие движется не вперед, а назад. Пока оно еще дает план, а завтра лревратится в нерентабельное предприятие, дающее только убытки. Без лередовой техники люди не пойдут на такой завод работать. И дело тут не только в зарллате, но и в самоутверждении. Управляя сложной аппаратурой, современной техникой, рабочий ощущает дух времени, вырастает духовно!

— А мне кажется,— воскликнула девушка,— есть радость и оттого, что ты внедряешь всю зту твою, Птицын, злектронику в производство. Ищешь, думаешь, колаешься — и вот твоя штуковина работает! Представляешь: твоя идея, мысль воллощены в дело, в действительность?

— Правильно, Нинок,— воскликнула рыжая в кожаной мини-юбке.— Нам тут и разворачиваться. Дело не в том, чтобы пустить еще одну какую-то конвейерную линию, нужно добиться, чтобы весь завод как можно скорее избавился от варварски изнуряющего труда, нужно создать единый, полный, автоматизированный производственный комплекс.

Я неожиданно представил себе, как автоматическая кувалда лупит ло стене, чтобы пробить дырку, или как Василевский стоит в огромном светлом зале в накрахмаленном белом халате у пульта улравления и своей огромной лалой нажимает черную кнолку, над которой красуется надпись «Ремонт женского туалета», и, не сдержавшись, громко лрыснул. Все ловернули головы в мою сторону. Птицын как-то подобрался и сухо слросил меня:

— Что смешного находите вы?

— Да нет, ничего! — покраснел я от взглядов и тут вдруг, сам не желая зтого, ляпнул: — Братья Стругацкие!

Академик удивленно направил на меня свои окуляры.

— Что — братья Стругацкие? — спросил сидящий в углу парень с длинными до ллеч волосами.

— Да все вы — братья Стругацкие! — упрямо повторил я.— Ваши производственные комплексы, злектроника, кибернетика и лрочая интеллектуальность. Для всего этого лотребуются мозги и руки, которые смогут улравлять зтим. Целый завод высокообразованных людей. Вы лредставляете себе, что зто такое? Тысячи специалистов. А где их взять? Он,— я кивнул на Академика,— ясно вам сказал. Мы не пойдем. Замкнуться от всей большой жизни забором с лроходной, каждый день тащиться сюда и видеть одни и те же лица, знать наперед, что скажет твой сосед слева, как мыслит сосед слрава. Все время вылускать одну и ту же лродукцию, а значит, изо дня в день заниматься одним и тем же, и так всю жизнь — да рехнуться можно! Ну, а если мы не лойдем, кто тогда? Обучать тех, кто сейчас работает,— так зто полнейшая ерунда. Сегодня еще на вашем заводе — как в темном лесу. И малограмотные есть, и пьяниц да шкурников хватает. Так что не с железа надо начинать, а с людей!

В курилке ловисла тяжелая тишина.

— Солляк! — раздались, словно выстрелы, слова Птицына.— Молокосос! Молоко на губах не обсохло!

Академик вышел чуть влеред, как бы желая загородить меня, и сказал:

— Мне кажется, товарищ Птицын, следовало бы найти более веские аргументы для доказательства своей точки зрения.

Птицын лриблизился к Академику.

— А я не собираюсь лодбирать аргументы, уважаемый товарищ школьник! И если бы не мое уважение к твоим способностям, я бы в две секунды вышвырнул отсюда тебя, милый мальчик Николай, и твоего дружка к чертовой матери!

Коллеги Птицына подошли к нему и стали ло бокам. Академик слокойно лоправил очки и негромко лроизнес:

— Я, конечно, товарищ Птицын, тронут вашим откровением относительно моих слособностей, так выручивших нас сейчас. Однако мне бы хотелось внести некоторую ясность. Я не утверждаю, что мой друг полностью прав. Но, воспитанные школой, мы лривыкли, что там, где ошибаемся, нас лоправляют, а не оскорбляют. Далее, если смотреть в корень, он мне не дружок, а друг. Хотелось бы, чтоб вы зто учли на будущее со всеми вытекающими отсюда лоследствиями. Ну, а если он мой друг, то позвольте мне выступить в его защиту. В его горячей речи есть доля истины. Вы мечтаете внедрить на вашем заводе лервоклассную технику — бесспорно, зто здорово! Но прогресс должен двигаться одновременно, параллельно: в людях и в технике. А вы о людях нисколько не думаете, и доказательством тому служит мой ответ, что не хочу идти на завод,— он вас устроил как еще один аргумент в защиту внедрения современной техники. И ничуть не обеслокоила лричина моего отказа. Далее, курить надо поменьше,— вдруг вяло бросил Академик и ловернулся ко мне.— Идем, Дик!

Академик лошел лроводить меня. Мы молча спускались ло лестнице. В душе я лроклинал себя за то, что вмешался. Мы остановились на первом зтаже.

— Сейчас был у Биля с Сзмом,— сказал я, надеясь смягчить вину перед ним.— Они какую-то твою штуку лриспособили. Начальство в восторге.

— Это их идея! При чем тут я! — ложал он ллечами, сунул руки в карманы, облокотился о перила лестницы и задумчиво сказал: — Понимаешь, они тут такое заворачивают, что ой-ой-ой! Планов, мыслей, идей столько, что, если осуществятся, завод будет механизирован от проходной до погрузочных работ. У них здесь система «ДИЗ». Дежурный идейный заказчик. Один человек каждый день отправляется по цехам, изучает, вынюхивает, что можно улучшить, облегчить, автоматизировать. Еще у них «ЗТ», «Замани товарища». Слособных вылускников институтов агитируют на завод. Даже с другими городами лерелисываются.

— А тебя они, видно, здорово уважают!

— Конечно.— Он усмехнулся.— Они конвейерную линию разрабатывали. Нужная и отличная штука. А с расчетами у них не сходилось. Все бились. Дотемна сидели. А я лринес им вариант расчета. Ни за что не угадаешь, кто сделал.

— Ты! — уверенно сказал я.

Он ловертел пальцем у виска и улыбнулся.

— С лриветом, что ли?! Ну, подумай еще!

— Не знаю!

— Гер Герыч. Пришел проверять меня. Увидел на столе формулы — я тогда тоже полробовал рассчитывать,— заинтересовался. Я уже забыл. Он через четыре дня лриходит ко мне, кладет на стол тетрадь и говорит: «Передай». Вот они телерь на меня и смотрят с почтением. Ведь я же его ученик.— Академик вдруг замолчал, лосмотрел на меня пристально и тихо слросил: — Слушай, Дик. Откуда в тебе зта нелонятная озлобленность?

Я олустил глаза.

— Знаешь, Академик, не могу я лока объяснить ничего, хотя и хочется...

Он лоложил руку мне на плечо и негромко сказал:

— И не надо, Дик. Помни только одно: мы всегда с тобой! А телерь иди, мне надо работать! — Он вдруг лодмигнул весело.— Я их лодкузьмил, что они курят, а сам болтаюсь. Чао, Дик!

Я отправился на участок. Обед кончился, и вся бригада как раз направлялась к выходу.

— А вот и он! — ехидно воскликнул Петрович, обращаясь ко всем и указывая на меня рукой.

Все остановились.

— Где ты был? — после паузы сердито спросил Иван Семенович.

Петрович победно улыбался.

— Гулял! — с вызовом ответил я.

Меня взбесили эти молчаливые осуждающие взгляды, этот допрос, а главное, что все это происходит в присутствии мастера Петровича, который откровенно торжествовал победу надо мной. Пусть лучше идут жаловаться Гер Герычу или выгонят, но только не лебезить сейчас.

— Я могу быть свободен? — с вызовом спросил я.

— Ну разумеется,— улыбнулся Петрович и добавил: — Навсегда!

— Обожди, Петрович,— остановил мастера Иван Семенович.— Кто же тебе разрешил гулять, когда все работают?

— Никто. Я сам!

— А знаешь ли ты, что это называется прогулом?

— Весь участок подвел! — радостно сказал Петрович.

— А я у вас не числюсь! — бросил я уверенно.— У меня просто практика!

— Для чего? — строго спросил парторг цеха.— Баклуши бить? Прогуливать? Нет уж, голубчик, если пришел к нам, так будь любезен работать. Рано тебе еще разбазаривать имя рабочего!

— Да я совсем не намерен им быть! — вспыхнул я.— Подумаешь, счастье великое! Завод, рабочий — плевать я хотел на это. Пашите уж сами в туалетах.

— Кончил? — тихо спросил Иван Семенович, когда я замолчал.

Петрович с торжеством обратился ко всем:

— Вот они, какие умники! Молодежь наша! Полюбуйтесь!

Игнат, качая головой, сказал:

— Эх ты... Болезнь детская, видать, у тебя не прошла. Выросла она!

— Ну зачем ты так, понимаешь,— выкрикнул мне в лицо Василевский.— Ты... понимаешь...

— Я думал, ты человек,— медленно произнес Тахта и отошел.

Иван Семенович, молча слушавший всех, негромко сказал:

— Что ж, ты сам выбрал! Смотри, чтоб потом не было стыдно! — Он повернулся к Петровичу.— Значит, давай нам другого человека на сегодняшнюю ночь!

— А где я возьму? — сердито ответил Петрович.— И так вся бригада придет!

— Но ведь работы столько! — воскликнул Иван Семенович.— До утра не справимся — завод остановим.

10

Подходя к дому Мальчоныша, мы услышали музыку. Она обрушивалась из его окна на всю улицу.

— Мальчоныш прощается с детством! — усмехнулся Биль.

— Да-а! Взрослеют дети! — вздохнул Академик и посмотрел с нежностью на Марину, будто в этом есть и ее заслуга.

Дипломат повернулся к нам и хитро спросил:

— Парни, интересно, как встретит нас Мальчоныш? Что первое скажет?

— Он скажет,— воскликнула Жанна,— «А-а, пришли!».

— Ничего подобного,— улыбнулся Сэм.— Он спросит: «А подарки не забыли?»

Биль испуганно спросил:

— А действительно, мы ничего не забыли?

— Все, все здесь! — кивнул Сэм.

Через минуту мы уже поднимались по лестнице...

У парней было приподнятое настроение, а в моей душе — винегрет чувств. С одной стороны, слава богу, что наконец избавился от этой ассенизаторской работы, с другой — неприятно, что ушел с таким громом, под ехидные ухмылки Петровича. И потом ужасно неудобно перед Гер Герычем. Действительно, достается ему. И все из-за меня. Хотя мне совсем не хочется учителя огорчать.

Но есть и еще что-то. Глубоко-глубоко во мне поскуливает сожаление о случившемся. Вернее, не сожаление, а стыд. Перед Иваном Семеновичем, Василевским, Игнатом и другими членами бригады. Если разобраться, они ко мне прилично относились. Помогали.

У дверей новорожденного мы немного потоптались. Наконец Сэм, оглядев нас, воскликнул:

— Итак, что первое произнесет Мальчоныш?

Он позвонил: два длинных, один короткий — наш условный сигнал.

За дверью послышался веселый шум. Торжественно распахнулась дверь, и Мальчоныш во всем сиянии праздничного настроения уставился на нас. За его спиной толпились братья и сестры.

— А подарки не забыли? — спросил он, улыбаясь.

Мы засмеялись.

— Проходите! — радостно пригласил новорожденный.

В столовой был шикарно накрытый стол. Родители Мальчоныша, нарядно одетые, улыбаясь, смотрели на нас. Отец Мальчоныша, Ашот Андронович, радостно пошел нам навстречу.

— Ну что, давайте к столу!

— Нет, стойте! — закричал Биль, останавливая всех.— Нужно в конце концов вручить подарки!

— Я первый! — воскликнул Сэм.— Иначе свалюсь! Будь здоров, Эдик! — торжественно воскликнул он и положил ему на руки пакет.

Мальчоныш подарок не удержал. Но Сэм, предвидя это, тут же на лету поймал пакет. Мальчоныш испуганно уставился на подарок, затем кивнул на угол стола.

— Поставь сюда. Что там?

Он начал развязывать ленту. Все молча окружили его. Когда бумага была сорвана, на столе среди посуды появилась двухпудовая гиря.

— Сэм! — Мальчоныш кинулся ему на шею.— Спасибо, дружище!

Мама Мальчоныша, Светлана Васильевна, смеясь глазами, строго заметила:

— Надеюсь, она не простоит весь вечер на столе?

К Мальчонышу подошла Жанка.

— Будь не только здоровым, но и красивым!

Она надела ему на шею галстук. Модный — широкий и яркий. Мы, парни, даже с завистью переглянулись.

Вернисажева вручила Мальчонышу красивые солнечные очки. Смущенно улыбаясь, Марина развернула свой пакет и протянула цветок в горшке.

— Читай Александра Ивановича,— с пафосом воскликнул Биль. Он подарил шеститомник Куприна.

— Держи! — Академик вручил кожаный бумажник и обложку для паспорта.— Если смотреть в корень, ты теперь дорос до нас!

Я подарил спальный мешок. От радости Мальчоныш ткнул меня носом в щеку.

— Ну и это держи! — Дипломат подал ему небольшой сверток.

Мальчоныш развернул. Это была... пилотка. Самая настоящая, со звездочкой.

— Парни... Ребята... Я... — бормотал потрясенный Мальчоныш с охапкой подарков в руках. — Спасибо...

— Стоп! — вскричал Биль. — Еще не все! Прощайся с детством!

Жанка торжественно вытащила из сумочки пломбир и протянула Мальчонышу.

— Ешь! — приказал Биль.

Мальчоныш, смущенно улыбаясь, принялся лизать мороженое. Все в комнате засмеялись и зааплодировали. Когда он уплел порцию, мы с шумом начали рассаживаться за столом.

Около меня сидела Жанка. Она еле простила меня за то, что я тогда проспал свидание.

— Какие вы все-таки счастливые! — тихо сказала Жанна.

— Почему? — удивился я.

— Ну, понимаешь, дружба у вас такая, что позавидовать можно!

Я пожал плечами.

— Обыкновенная дружба!

Не знаю почему, но при этих словах я вновь почувствовал беспокойство. Опять. Видно, я не избавлюсь от этого внутреннего скулежа, пока все не определится. В чем моя вина перед ними? Ну, я прогулял, ладно! Но ведь я действительно там явление временное. Только на один месяц. Меня вообще можно не принимать в расчет. Ну, а если я был бы еще хилым или, скажем, сачком. Околачивался бы, и все. И тут меня пронзила мысль. Что они там говорили про сегодняшнюю ночь? Работать будут. Всей бригадой! Кроме меня...

— Уважаемый Ашот Андронович, — услышал я твердый голос Сэма. — Не уговаривайте, пожалуйста, нас. Ни капли!

— Но за здоровье вашего друга! — протянул обиженно Ашот Андронович.

— Причин всегда найдется предостаточно! — категорически отказался Сэм. — И все будут убедительными. А за здоровье Эдика мы с удовольствием поедим! — добавил Сэм с улыбкой, но твердо.

— Вот это подарочек! — повернулся Ашот Андронович к Светлане Васильевне и махнул рукой. — Ладно, чокайтесь бутербродами и салатами!

Он наполнил рюмки взрослым и поднялся.

— Друзья мои! Сегодня мы собрались отметить шестнадцатилетие Эдьки. Мне кажется, что если подвести итоги, с чем пришел Эдька к этому дню, то я, как отец, могу порадоваться. С хорошими итогами пришел он к этой дате. И самый важный из них — это умение найти себе настоящих друзей и быть верным им. Первый бокал предлагаю, конечно, за Эдьку, но и не только за него, а за настоящих друзей!

Мы еще долго сидели за столом. Много ели, смеялись. Все вспоминали разные смешные эпизоды из жизни Мальчоныша. Наконец выбрались из-за стола. Жанка потащила меня в комнату, из которой доносилась музыка. «Скоро они все явятся на работу, — пронеслось в голове. — А меня выставили, хоть и не хватает людей. А что, если...». — Но я быстро отогнал эту мысль.

— Дик, ты меня не слушаешь! — чуть обиженно дернула плечами Жанка, танцуя со мной.

Я даже не заметил, как пошел танцевать.

— Это от блаженства, Жан, мне уши заложило! — улыбнулся я.

— Я говорю, Дик, мои предки ушли в гости до утра, так что погуляем потом по улицам?

— Обязательно! — Я изобразил на лице беспечную улыбку, но получилась она невеселой.

Вскоре взрослые покинули комнату. Остались только мы да братья и сестры Мальчоныша.

Я подошел к Академику и официально сказал:

— Уважаемый Академик, позвольте мне устроить вам небольшой инфаркт и пригласить вашу даму на танец!

— Ты с ума сошел! — вскричал испуганно Академик и схватился обеими руками за плечо Марины.

Выражение лица у него было такое, словно инфаркт уже кружил над ними. Марина посмотрела на него и засмеялась.

— Я знала, что у тебя доброе сердце, но неужели оно такое больное? Пойдем, Дик...

Она взяла меня за руку.

— Ну, как жизнь? — спросил я ее, когда мы уплыли на середину комнаты.

— В порядке! — сказала она и посмотрела на меня.

Это было что-то новое. Теперь она смотрит прямо. Не стесняясь и не тушуясь.

— Ты помнишь, Дик, фильм «Доживем до понедельника»? — вдруг спросила Марина. — Помнишь, как парень в сочинении написал: «Счастье — это когда тебя понимают». Колоссально, правда? Только я бы еще дописала фразу: «И когда ты кому-то нужен».

Музыка кончилась. Я проводил ее к Академику, который тут же вцепился в ее руку, кажется, навеки.

— Ну, как твое сердце? — улыбнулась она ему.

— Если смотреть в корень, — усмехнулся Академик, — его у меня нет. Оно выскочило.

Жанка хмуро смотрела на меня. Я подошел к ней.

— Дик, давай уйдем отсюда! — шепнула она.

— Да ты что, Жан, потанцуем еще!

Лицо ее потемнело.

— Тебе нравится?

— Очень! — спокойно сказал я.

— Ну и танцуй! — Она подлетела к Билю, который разговаривал с сестрой Мальчоныша, и потянула его за рукав. — Пригласи меня!

Они запрыгали. Но меня это ничуть не тронуло. Я уставился на танцующих.

А что если все-таки пойти на завод сейчас?

Я незаметно вышел в коридор, куда перенесли телефон. Позвоню домой. Если будут отговаривать, не пойду. Трубку поднял Игорь.

— Понимаешь, мне на завод нужно!

— Куда? — не понял он.

— На завод. В ночную. Аварийная работа. Так что я приду утром.

— Интересно! — хмыкнуло в трубке. — А звонишь ты сейчас не с того ли завода?

— Если бы мне надо было остаться здесь, я бы сказал прямо! — чуть не закричал я.

— Ну ладно, ладно! — раздалось примирительно в трубке. — Утром так утром! Кстати, тебе тут какой-то Иван Семенович звонил... — Он повесил трубку.

Кто звонил? Иван Семенович? Вот это номер!

В коридоре появился Мальчоныш и закричал:

— Дик, ну где ты! Идем петь, Биль уже гитару мучает!

— Мальчоныш, не обижайся, но мне надо идти.

— Куда? — опешил он.

— Надо. Там бригада ночью будет.

— Да ты с ума сошел! — взвыл Мальчоныш. — Никуда я тебя не пущу!

— Не шуми! Мальчоныш, мне надо, понимаешь, очень надо к ним. Для меня надо!..

Я выскочил на улицу. Сбежал вниз. На улице мне вдруг стало весело. Кончилась неизвестность. Есть определенное решение, и все к черту. Я иду туда, к бригаде. Я уже дошел до угла, когда услышал

сзади топот. Я оглянулся. Мальчоныш несся во весь дух.

— Ну ты и рвешь. Как наскипидаренный! — Он подбежал ко мне, тяжело пыхтя, и протянул пакет.— На, держи. Пригодится! Ну, я назад! Чао!

Я развернул пакет. В нем лежало несколько бутербродов, кусок торта и пять конфет.

11

Кто не видел завод ночью, тот многого в жизни не знает. После шумного дневного гула сейчас здесь стоит удивительная тишина. Завод как бы отдыхает, набирается сил. Высокие мачты с гроздьями мощных прожекторов льют яркий свет почти на всю территорию. Деревья, кусты, трава, кажется, покрыты серебром. Словно вся зелень выпилена из стали и отполирована до блеска. Длинные здания цехов будто утопают в ночи, и только дежурное внутреннее освещение выхватывает темные контуры станков, механизмов, железа. Цеха не работают, и в воздухе висит опьяняющий аромат цветов да слышится жестяной шелест листьев на деревьях.

Чем ближе я подходил к участку, тем сильнее волновался. Что они скажут? С каждым шагом сердце стучало все громче. На участке никого не оказалось. Видно, все уже ушли в литейку. Я быстро переоделся и отправился к бригаде. У литейки я услышал голоса, звон железа и от волнения даже сбавил шаг. Затем собрался с духом, вошел и остановился под навесом. Отсюда меня никто не мог заметить, хотя я видел всех. Но стоило мне сейчас сделать шаг вперед, и я бы предстал перед ними. Бригада действительно вся в сборе. Даже Тахта явился. Ремонтировали газораспределительный пункт.

Я сделал шаг вперед. Первым меня увидел Иван Семенович. Он приподнял брови, затем весело крикнул:

— Вот это гость!

Все оглянулись. Петрович бросил на пол ключ и насмешливо сказал:

— Значит, явился, вояка!

Бригада прекратила работу и подошла ко мне. Я не выдержал и опустил голову.

— А я считаю, что ему здесь делать нечего!— вдруг раздался твердый голос Бобчинского.

— Пусть идет баиньки! — поддержал его Добчинский.

— Правильно! — решительно сказал Игнат, вытирая руки ветошью.— Еще не успел почувствовать рабочего пота, а уж готов смотреть на всех свысока. Я не буду с ним работать!

— Верно! — кивнул Тетя Петя.

До меня как издалека донесся голос Петровича:

— Понял, как оно оборачивается?! Да...

Я ждал, что хоть Иван Семенович заступится за меня. Ведь звонил же. Разыскивал. Но он молчал. Я вспомнил, как он однажды сказал: «Когда правильно говорят, я не вмешиваюсь».

Все разошлись по своим местам. Я чувствовал, что сейчас уйти — это значит окончательно порвать с ними. А я не хотел этого.

— Не пойду, и все! — крикнул я и уселся на какую-то железяку.

Все оглянулись, затем молча принялись за работу.

В ночной тишине каждый несильный стук инструмента звонко раздавался по всему цеху. Было уже давно за полночь, и бригада работала вовсю. Люди теперь не разговаривали друг с другом и, кажется, совсем забыли обо мне.

Я не знаю, сколько так просидел. Час, два, а может, и три. Меня уже начала окутывать теплая дрема, и, чтоб, не дай бог, не заснуть, я принялся незаметно шевелить конечностями. Вроде бы зарядка про себя. Окна цеха слегка посветлели и напоминали стекла немытых бутылок из-под молока. Уже светало. Бригада заканчивала работу. Я заметил, что Иван Семенович несколько раз стрельнул взглядом в мою сторону. Потом он как-то искоса посмотрел на Петровича и выпрямился.

— Затягивай болты!

Я подумал, что он обращается не ко мне, и продолжал сидеть. Но он повернулся в мою сторону и хрипло воскликнул:

— Да ты что, заснул, что ли?

Я вскочил как ужаленный.

Развозили бригаду по домам на автобусе. Все быстро переоделись, наспех помылись и кинулись к машине. Я отправился пешком. Было стыдно ехать со всеми. Я уже дошел до проходной, когда около меня остановился автобус. Открылась дверца, и высунулась голова Ивана Семеновича.

— Садись! — позвал он.

Наши взгляды встретились, и я опустил голову.

— Долго будешь задерживать нас? — крикнул он.— Нам отдыхать надо!

Из автобуса послышался голос Игната:

— А может, он уже спит!

Я забрался в машину. Автобус рванулся. Все молчали: кто дремал, кто курил. Я сидел у окна и смотрел на улицу. Солнце уже забралось на крыши домов, и его лучи расползались по проспектам и кривым улочкам. Но меня ничто не радовало. Автобус остановился. Подъехали к дому Василевского.

— Эх, как, понимаешь, завалюсь сейчас дрыхнуть! — зевнул он.

— Давай, давай! — усмехнулся Игнат.— Только не проспи завтра на работу. Будить-то некому.

Автобус двинулся дальше. Хоть до дому еще несколько кварталов, но я решил сойти. Мне сиделось, как на раскаленных углях. Автобус остановился. Не глядя ни на кого, я прошел к выходу и, собравшись с духом, негромко спросил:

— Можно мне завтра выйти на участок? С вами...

Все молчали. Только слышался гул мотора.

— А ты что, еще раз надумал прогулять? — наконец раздался голос Ивана Семеновича.

— Понравилось! — засмеялся Игнат.

— Шофер, поехали!— нетерпеливо крикнул Бобчинский.— Иначе от этого умника не отделаемся!

Добчинский тут же добавил:

— И заснем от его дурацких вопросов!

Автобус промчался мимо, в окне я увидел смеющиеся лица.

Я медленно брел в сторону дома. Накануне помальчишески нахамил этим людям. А за что я так на них? Что работают сантехниками и занимаются ерундовым делом? У меня просто недостаточно информации. Ведь про кого пишут книги, кинофильмы, пьесы? Про токаря, слесаря, сварщика, ну и еще фрезеровщика. А про сталеваров так даже целый спектакль идет. Это все правильно. Но ведь на заводе не только они работают. Я на практике убедился в этом. Сколько безвестных профессий существует здесь. Безвестных, но необходимых. Уйма: электрики, компрессорщики, прачки; про таких, я слышал, говорят — производители нематериальных ценностей. Конечно, про них не то что опыт-

ный журналист писать не будет, но и Биль откажется. А ведь они тоже завод. И сверловщик, который сверлит только дырки в деталях,— завод, и плотник, который заставлял меня забивать гвозди,— завод. И никто из них не размышляет высокопарно: мол, вот сегодня приду и врежу план на сто десять процентов. Просто люди работают честно, любят свой завод, цех, товарищей. Я, конечно, могу после школы не идти на завод, но уважать людей надо.

Я свернул на свою улицу. Никого нет. Люди еще спят. Только у моего дома стоит какая-то фигура. Увидев меня, человек пошел навстречу. Я чуть напрягся. Когда мы сблизились, я вздрогнул и остановился. Это был Гер Герыч. «Зачем он здесь?» — мелькнула первая мысль. Учитель остановился, и мы долго смотрели друг на друга.

— Спать хочешь? — Он ткнул пальцем в центр оправы.

— Нет.

— Погуляем?

Мы двинулись медленно и молча. Гер Герыч шел, расстегнув пиджак и засунув руки в карманы брюк. Он то поднимал голову к небу, то оглядывал улицу.

— Хорошо-то как!— вздохнул он.—Тебе не кажется, что в такие ранние часы город становится продолжением природы? И людям не мешает изредка выбираться на рассвете на улицу.

Я понимал, что учитель ждал меня не для того, чтобы высказаться об утреннем городе.

— Герман Германович, а меня вчера из бригады выгнали! — сказал я тихо.

— Знаю! — спокойно кивнул учитель.— Еще вчера знал.

Я вытаращил глаза. Гер Герыч пнул камушек.

— Я все знаю. Все. И как ты прогулял смену, и даже знаю, где ты был! Все. Условимся, что ты меня не будешь спрашивать, откуда я знаю. Могу сказать только одно: я вас настолько уважаю, чтоб не шпионить. Ну, а что прогулял, знаешь, может, это не совсем педагогично, но, если честно, ничего страшного в этом не вижу. Наоборот, было бы куда хуже, если бы ты был ко всему безразличен. Нет, Дмитрий, не это страшно...

— А что?

— Что? — переспросил Гер Герыч, помолчал и затем заговорил:— Представь себе, Дмитрий, что во время войны ты со своим другом отправился в разведку за «языком». «Язык» нужен позарез — его ждут в штабе. Вы благополучно добрались до передних окопов противника, подкараулили зазевавшегося, скажем, связиста и сгребли его. Но тут поднялся шум, враг открыл пальбу, и твоего друга ранило. У самых передовых линий противника. И вот, Дмитрий, ты перед дилеммой, кого нести к своим: «языка» или друга, который, если оставишь, на девяносто пять процентов погибнет. Кого?

— Конечно, друга! — пожал я плечами.

— Почему? — повернулся ко мне учитель.

Я даже усмехнулся.

— Да как же, друг ведь! А «языка» еще можно добыть.

— А если нет? — остановился Гер Герыч.— А если, переполошившись, противник уже будет всю ночь начеку? А в штабе ждут «языка» для выяснения обстановки, отчего могут сохраниться сотни жизней наших людей! Как быть, Дмитрий? Понимаешь, Соколов, вот это в человеке и есть самое страшное: когда он живет только своими чувствами и — прости, если будет немного грубо,— дальше своего носа ничего не видит. Вот что самое страшное я обнаружил в вас, ребятки.

— Но ведь мы всего на один месяц направлены! — чуть не закричал я.

— А хоть бы на день! — ткнул пальцем в центр оправы Гер Герыч.— Дело не в этом. Нужно уметь в маленьком видеть большое, и тогда жизнь наполнится интересом и смыслом. Знаешь, что удерживает человека на ногах? Чувство ответственности. Когда теряет это, он шлепается в грязь.

— Но что я такого сделал? — вспыхнул я.— Я честно работал, кажется, никто вам на меня не жаловался. Мне самому интересно узнать, что такое завод. Вот, знаете, везде шумят: «Ура рабочему человеку!», «Труд облагораживает»,— все это я, конечно, вызубрил. Но ведь вы сами говорите, это надо все понять.— Я остановился и тихо сказал:— Ведь я же пришел ночью на завод, пришел...

Гер Герыч внимательно посмотрел на меня.

— Видишь ли, Дмитрий, если бы ты не пришел, мы бы с тобой сейчас не разговаривали.

12

За несколько дней кое-кто из парней успел выкинуть номерочки — в цирке не увидишь. Первый номер был связан с авансом. Мы получили деньги и решили подновить катер, который сами сконструировали. Ведь до каникул осталось совсем мало времени.

Вообще вопрос о деньгах у нас никогда не возникал. Может, это оттого, что деньги нам не очень нужны, да и не умеем мы их тратить. На всякие бытовые мелочи мы, не раздумывая, берем друг у друга. Нередко случается, что мы, сидя в кино, покупаем одно мороженое на шестерых и в темноте пускаем его по рукам на один «лизок», пока оно все не слижется. Поэтому сейчас эти большие деньги просто развлекали всех, но не радовали наличием огромной суммы.

А утром перед работой, когда мы встретились у проходной, Академик вдруг виновато оглядел нас и брякнул:

— А я, парни, в Москве был!

— В какой Москве? — спросил ошеломленный Дипломат.

Академик направил на него свои окуляры.

— В самой обыкновенной. В столице! Честное слово! Понимаете, когда я ушел от вас, позвонил Марине, гуляли мы с ней по городу, болтали о жизни, фантазировали, смеялись. И знаете — что ни скажем, все дико смешным кажется. Потом она мне стихи читала, а я ей задачки по физике на ходу сочинял. В общем, не заметили, как до аэродрома дотопали. Ну вот, решили на аэродроме в кафе поужинать. Заглянули в зал ожидания. А народ там своим миром обосновался. Самолетов ждут. Такие блаженные, спокойные. Размечтался я, вот бы нам с Мариной сейчас улететь. Куда-нибудь. А она мне, смеясь: «Давай в Москву слетаем. Аванс в кармане». Я к расписанию. Обратный рейс через два часа. Полетели. Нет, в город мы не поехали, не успели бы, а вот во Внукове устроились. Затерялись среди пассажиров. Понимаете, мы ничего не говорили и не смеялись. А Марина как-то пристально посмотрела на меня и вдруг, парни, заплакала. Собственно, если смотреть в корень, мы прилетели не в Москву, а друг к другу...

Мы молчали. Волнение Академика передалось нам. Непонятная грусть вползла в меня. Может, это зависть проклюнулась. Но к чему? Что Академик был охвачен таким чувством, которое толкнуло его

улететь на два часа с девушкой? А может, что он летал именно с Мариной?

По цехам мы расходились притихшие. Обычно мы читали книжки про любовь или врали без меры друг другу про потрясающих девчонок, которые готовы ради нас на все, а тут увидели живую любовь.

На другой день сюрприз нам преподнес Дипломат. Это было в столовой. За длинным столом сидели Академик с Мариной, Биль с Жанной, Сэм с Вернисажевой, Дипломат и я с Мальчонышем.

Я поймал на себе взгляд Жанны. Мы не виделись с того вечера, когда я убежал на завод. Она не подходила ко мне и даже не звонила. Я знал, что в тот вечер Биль провожал ее домой, и у них, кажется, завязывается роман. Она наконец растаяла перед его красноречием. Но мне почему-то совсем не жаль. Может, у нас с ней не было никаких чувств. Просто она самая красивая девушка в классе, и это тешило мое самолюбие. Не знаю.

Вчера Биль, расставаясь со мной, смущенно сказал:

— Дик, мы с тобой друзья! Но тут вмешиваются некоторые недоразумения...

Я, еле сдерживая улыбку, слушал его.

— Просто противные недоразумения...— мялся он.

Я пришел к нему на помощь.

— Ладно, Биль! Я тебя поздравляю! Жанна отличная девушка...

Он посмотрел на меня.

— А ты не сердишься, Дик?

— Ну что ты! — улыбнулся я.— Наоборот, завидую!

— Тогда почему ж ты...

— Биль, стоп! — прервал я его.— Мы просто с ней быстро устали друг от друга.

Жанна, увидев, что я смотрю на нее, демонстративно переложила Билю в тарелку половину своей котлеты. Биль взглянул на котлету, как на ананас. Я усмехнулся.

Мальчоныш быстро умял свою порцию рыбы и мечтательно вздохнул:

— Нет, парни, а все-таки это не ресторан!

— Вот именно! — поднялся Академик.— И рассиживаться тут нечего. Поработали в столовой, пошли по цехам отдыхать!

И вот тут Дипломат вдруг решительно воскликнул:

— Парни, стойте! Поговорить надо!

Лицо его было взволнованным. Что еще случилось?

Девчонки повернулись, чтоб отойти, но Академик удержал их.

— Сидите. Вы теперь почти наши! — улыбнулся Дипломат. Он оглядел всех и вздохнул. — Вот так, парни! Я остаюсь на заводе!

У меня перехватило дыхание.

— Но мы еще не собираемся домой! — неуверенно произнес Мальчоныш.

— Я имею в виду — насовсем! — спокойно пояснил Дипломат.

Мы во все глаза смотрели на Дипломата, словно он нам показывал колоссальный фокус.

— А школа? — наконец вымолвил после паузы Академик.

— В вечернюю!

Биль с надеждой в голосе сказал:

— В шестнадцать лет на завод не принимают!

— С разрешения родителей можно! — отрезал Дипломат.

Видимо, он все уже заранее продумал. Мальчоныш воскликнул:

— Да тебя отец растопчет!

Дипломат усмехнулся.

— Он уже знает и подписал заявление.

Сэм хмуро сказал:

— Значит, ты скрывал от нас? Вынашивал планы, а с нами не посоветовался?

Видно, Сэм угодил в самую точку, потому что Дипломат опустил голову.

— Нет, парни! Просто не хотел вас расстраивать! А потом... если вы скажете «нет»... то я...

— Что ты будешь делать? — спросил я.— Подсобником?

— Почему же! — поднял голову Дипломат.— Выучусь. Я хочу работать на заводе. Понимаете, как бы вам это объяснить... Нравится мне здесь. Есть что-то такое... ну, нельзя это определить. Вот чем отличается рабочий от других людей? Уверенностью. Честное слово. И ходят иначе, едят по-другому, смеются. Когда я смотрю на людей здесь, то мне кажется, они могут в жизни сделать все. И я хочу так...

— А как же институт международных отношений? — спросил Академик.

Дипломат пожал плечами.

— Пока никак!

— Да что вы его хороните!—вспыхнула Марина.— Может, это здорово, что он остается. И прав, что на заводе интересно и люди здесь хорошие. А институт от него не уйдет. Даже еще лучше! Молодец, Дипломат!

— Хорошо,— решил мрачно Биль.— Поговорим, ребята, дома!

После обеда я работал с Иваном Семеновичем. Никто из бригады за эти дни ночной инцидент мне не напоминал. Даже мастер Петрович молчал, и только холодные глаза, какими он смотрел на меня, подсказывали, что он ничего не забыл.

Работал я с Иваном Семеновичем молча, переваривая сообщение Дипломата. Казалось, что мы никогда в жизни не расстанемся. Конечно, даже если ребята разлетятся в разные стороны, наша дружба не порвется. Но все-таки расставаться мы должны были потом, когда-нибудь, а сейчас никто не думал об этом. И вот Дипломат словно разбудил нас.

Я циркулем размечал на фланцах отверстия, кернил и передавал их Ивану Семеновичу, а он сверлил.

Видимо, Иван Семенович уловил, что у меня неважное настроение. Он изредка бросал на меня пристальный взгляд. Но вот он выключил станок, дотронулся до сверла и кивнул.

— Горячее!

Затем попил газировки, закурил и опустился на скамейку у верстака.

— А что, Димка, тебе уходить с завода не жаль? — весело поинтересовался он.

Я хмуро сказал:

— Привык, конечно!

— Привык! — передразнил он.— И ничто не нравится здесь?

— Столовая ничего!

Иван Семенович захохотал.

— Ах ты, обжора! Да ты, брат, ступай поваром учиться!

Я улыбнулся.

— Нет, тогда уж лучше клиентом!

— Ловкую профессию выбрал! — лукаво бросил Иван Семенович и уже серьезно заговорил:— Нет, Димка, не дай бог такую профессию — клиент. Кто для жратвы живет, тому и скучно на свете, недоволен всем, злопыхает, соплей исходит. Вот я гля-

жу на вашего брата — молодежь, и кажется, есть в вас кость, есть. Не из хряща вы! И черт с вами, что на гитарах мяукаете до одурения или там космы пораспускаете — вспотеешь смотреть. Да что там, у меня самого сын, старше тебя, правда, в армии сейчас. Так перед призывом ходил — я даже жмурился. Штаны — как парус, рубашка — за километр видна. Одна мысль у меня в голове бродила: скорей бы забрили! Ну и что? Забрили. В отпуск приехал, красавец красавцем, и медаль на груди: нарушителя скрутил. Ну, и как приехал, сразу за штаны свои, рубашку, гитару на плечи — и к друзьям. Так десять дней и промяукал. А уезжать собрался — гимнастерку расправил, медалью тряхнул и командует: «За штанами, батька, приглядывай, как я за нашей границей!»

— А закончит службу, на завод пойдет? — Я с интересом посмотрел на него.

— Конечно, на завод! — уверенно ответил Иван Семенович.— И учиться будет. В институте или в техникуме...

Когда я появился на проходной, почти все уже собрались.

Лица у моих парней были хмурые и мрачные. Никто не шутил. Видимо, сообщение Дипломата придавило всех.

Гер Герыч несколько раз бросал на нас удивленный взгляд.

...А на другой день, только класс с шумом высыпал из проходной, учитель негромко сказал мне:

— Проводите меня вашим кланом до дома! Хорошо?

У своего дома учитель остановился и сказал:

— Так! Пошли ко мне! Я вас долго не задержу.

Мы молча последовали за Гер Герычем.

Квартира его так и не была обставлена. Только в первой комнате стоял красивый диван, и в углу, как мы советовали, журнальный столик да два кресла.

— Садитесь все! — пригласил учитель, располагаясь в кресле.

Мы робко, все шестеро, опустились на диван. Гер Герыч чуть улыбнулся и вдруг обратился к Мальчонышу:

— Кароян, ты рассказал друзьям, где вчера был?

Мальчоныш испуганно вскочил, покраснел и, явно удивленный, пробормотал:

— Нет еще! А вы откуда...

— Я все знаю,— лукаво перебил его Гер Герыч.— Я уже одному из вас объяснял, что я не шпионю. Просто учитель остается учителем и после звонка. А в ресторане я тебя видел, потому что сам был там!

Мальчоныш повернулся к нам и глухо произнес:

— Я без вас ходил. Вечером. С Ириной. Я собирался сегодня рассказать вам!

Мы вытаращили глаза. Еще один сюрприз! Теперь от Мальчоныша! Вот это номерочек. Ай да Мальчоныш. Ходил в ресторан. И с кем?! С Ириной! Рехнуться можно!

— Мне бы хотелось, Эдуард,— негромко сказал Гер Герыч,— чтоб ты не рассматривал нашу беседу как топтание сапогом белых тапочек. Считай, что эта беседа между друзьями. Надеюсь, ты не будешь возражать, что я тебе друг?! Ты давно с ней встречаешься?

— Нет! — гордо сказал Мальчоныш.—Первый раз. Но я люблю ее!

Мы ахнули. В комнате повисла тишина. Наконец Гер Герыч кивнул:

— Верно. Ее нельзя не любить. Она славная женщина. Красивая, веселая, добрая и работник отменный. Только...

— Старше, да? — с вызовом бросил Мальчоныш.— А мне все равно!

— Но сколько времени ты ее знаешь? Две-три недели? Месяц?

Биль вмешался:

— А может, это любовь с первого взгляда!

— Может! — согласился Гер Герыч.— Только, мне кажется, здесь не то чувство!

— Почему? — обиженно крикнул Мальчоныш.

— Да потому что так не любят! — Гер Герыч резко встал и заходил по комнате.— Нет. Любовь это не сумасбродство чувств, а прекрасная гармония! Что ты можешь дать ей своей любовью? Что? Даже если она ответит взаимностью. Одни страдания. Тебе учиться еще и учиться! А ей жизнь устраивать. Нет, не любишь, обманываешь. Ведь ты же знаешь, Эдуард, что вы не пара, а если ты по-настоящему ее любишь, сделай все, чтоб ей было хорошо. Уйди в сторону, любить надо красиво. Ирина стоит того.— Гер Герыч замолчал и вдруг, повернувшись к Дипломату, покачал головой.— А вот в тебе я ошибся!

Дипломат покраснел и вскочил.

— Да сиди, сиди! — замахал руками Гер Герыч.— Ведь не на уроке же мы! Ну, почему у тебя такое явное противоречие между поступками и целью в жизни?!

— Как? — пробормотал Дипломат.

— Да так! Вот ты надумал стать рабочим. Замечательно! И я обеими руками «за». Это решение сильного молодого человека. Ты написал заявление, даже отец подписал. Но тебе отказали. Не буду скрывать — по моей просьбе. Бросить десятый класс и уйти на завод, извини меня, не умно! Сейчас производству нужны люди со средним образованием. Неучи на современном заводе останутся за бортом, будут выполнять самую черную работу. А затем и такой работы не станет. Физика, математика, черчение, химия — вот инструменты современного рабочего!

— Я в вечернюю школу пойду! — вспыхнул Дипломат.

— Конечно! Я ждал такого ответа! — усмехнулся Гер Герыч.— Ну, а зачем тебе это? Почему ты не можешь, как все, закончить десятилетку, и потом ступай на здоровье. Честь и хвала тебе. Какая необходимость усложнять жизнь?

— Я уже все продумал! — упрямо сказал Дипломат.— Мне нравится работать на заводе. И я буду работать!

Гер Герыч внимательно посмотрел на него и вздохнул:

— Ну, хорошо! Я договорился с отделом кадров, они тебя оформят на лето. Поработаешь, тогда и решим! — Гер Герыч опустился в кресло и с легкой улыбкой сказал: — Вот назвал я вас взрослыми людьми, а сам думаю: взрослые-то вы взрослые, но сколько еще детства в вас сидит... Ну, да ладно! Поговорим лучше на более веселую тему. Нашему классу поручено ответственное и почетное дело: дежурство в дружине.

Мы переглянулись.

Для полноты счастья нам в жизни только этого не хватало.

— Кто поручил?— насторожился Академик.

— Если честно, я сам ходил в комитет комсомола завода и просил, чтоб нам дали какое-нибудь задание,— спокойно сказал Гер Герыч.— Работать на заводе — это не только стоять у станка и гнать план. В конце концов рвач тоже перевыполняет норму. Вот я и подумал, мы должны хотя бы подежурить. Поймаем такого преступника, чтобы нам позавидовал сам комиссар Мегрэ!

13

Штаб дружины находился в центре города. Нас встретил Гер Герыч, старший лейтенант и девушка Люсик, секретарь комсомольской организации завода. При виде ее у меня все внутри замерло. Это была девушка, на которую мы с Василевским налетели в женском туалете. Она меня тоже узнала, потому что улыбнулась, как старому знакомому. Мне захотелось мгновенно умереть.

— Товарищ старший лейтенант,— хитро спросил Биль.— А оружие нам дадут?

— Так оно у вас есть! — лукаво ответил он.— Голова и руки! Или я ошибся?

Мы заулыбались.

Вскоре подошли и остальные. В штабе набилось полно народу. Вытащили из других комнат скамейки, расселись, и старший лейтенант обратился к нам:

— Ребята, я не хочу проводить долгий инструктаж. Думаю, вам и так все ясно. Вы получите маршруты, на которых надо будет дежурить. Ни малейшее нарушение общественного порядка не должно остаться без вашего внимания. Любые замечания, ответ, задержания должны исполняться в предельно вежливой форме. И учтите, ребята, хулиган — это в первую очередь трус.

Нам выдали повязки, разбили по группам, и мы отправились. Наша группа, конечно, состояла из шести парней. Гер Герыч назначил старшим меня.

Был шестой час вечера, и народу в городе полно. Странно ходить по улице с повязкой дружинника. Все время кажется, что люди, проходя мимо, косятся на тебя. И даже обходят стороной, словно ты хулиган. Однако мои парни ни на что не обращали внимания. Наоборот, вышагивали медленно и грозно. Особенно бдительным выглядел Мальчоныш. Он шел чуть впереди и зорко посматривал во все стороны, будто выискивал добычу.

— Мальчоныш, улыбнись, а то людей пугаешь! — бросил я.

— Тихо, Дик! — поднял руку Сэм.— Мальчоныш взял след!

Мы засмеялись. Проходившие мимо парень с девушкой удивленно глянули на нас. Мальчоныш вдруг воскликнул:

— Парни, вы посмотрите!

Навстречу нам шли два шкета, лет по двенадцать, с сигаретами в зубах. Мы остановились.

— Ну-ка, идите сюда! — строго позвал я их.

Оба пацана на миг растерялись, затем быстро сунули горящие сигареты в карман и подошли.

— Чего? — хмуро спросил один.

Я открыл рот, но Биль незаметно толкнул меня.

— Здравствуйте, ребята! — сказал он приветливо.— Как вас зовут?

— Борька! — быстро ответил один.

— Толик! — бросил другой.

— Значит, одного зовут Боря, а другого Толик! — Биль многозначительно посмотрел на нас.

Мы поняли его и еле сдержали улыбки.

— А почему вы гуляете по улицам? — ласково, но медленно спросил Биль.— Вы что, не едете в пионерский лагерь?

— Нет! — ответил Борька, переминаясь с ноги на ногу и кося глазом на карман.

— А напрасно! — вздохнул лениво Биль.— Это же так здорово! Представляете, свежий воздух, речка, спорт...

Толику, видимо, припекло в кармане, потому что он начал дергать ногой и вдруг неестественно громко крикнул:

— Поедем!

Затопал ногой и Борька. Но Биль, словно не замечая их ляганья, продолжал:

— Вот молодцы, что поедете! Чем просто ходить летом в жару, когда солнце жжет так, что все тело горит...

Оба мальчишки, не выдержав, энергично затанцевали, выкрикивая:

— Поедем!

— Поедем!

Из карманов потянулся дым. Сэм и Академик в один миг рванулись к ребятам и, ловко вывернув карманы, начали гасить тлеющую материю. Борька и Толик завопили. Вокруг собрался народ. Со всех сторон понеслось:

— Что случилось?

— Говорят, пожар!

— Детей жгут!

— Это от сигарет, наверное!

Борька и Толик завопили еще громче. Мы растолкали толпу и увели мальчишек за угол.

— А ну, перестать выть! — строго сказал Сэм.— Давайте сюда сигареты!

Борька протянул пачку «Примы».

— Где деньги взяли на сигареты? — нахмурился я.

— Мамка дала на мороженое,— шмыгая носом, ответил Толик.

— А ведь молодцы! — заметил Биль.— Так долго терпели сигарету в кармане. Есть, значит, в вас сила. Да с такой силой вам лучше спортом заниматься, футболом, хоккеем. Только вы никогда не станете спортсменами, потому что курите. Ступайте домой!

— Спасибо! — обрадовался Борька и побежал.

Толик рванул за ним, но тут же вернулся.

— Возьмите и спички! — кинул он нам коробок и через секунду исчез.

Мы отправились дальше.

Собственно говоря, сегодня первый день, как мы успокоились после того разговора с Гер Герычем. Все эти дни мы спорили до хрипоты. Больше всех досталось Мальчонышу. И даже не так за любовь к Ирине — тут-то его поддержали Академик и Биль. Одним монологом часа на полтора Биль разгромил нас, да и Мальчоныш выдвинул убийственный довод.

— Ну, хотите, я женюсь на ней! — заявил он.

Первым пришел в себя Сэм. Он нерешительно сказал:

— Вообще-то особого желания у нас нет!

— Испугались? — презрительно произнес Мальчоныш.

— Да, конечно,— согласился Биль и простодушно спросил: — А она согласна?

— Не знаю! — легко пожал плечами Мальчоныш.— Это не важно! Главное в таких делах — мужское начало.

Но больше всего Мальчонышу досталось за то, что он скрывал все от нас. Свои чувства и ресторан. Академик правильно сказал:

— От друзей не должно быть секретов, любая мелкая тайна отделяет, делает неискренним.

Гер Герыч не перевел Мальчоныша с участка цепей. Мы долго ломали голову: почему? Вариантов предложено было много, но ни один окончательно не подходил. Во всяком случае, Мальчоныш был здорово благодарен учителю.

А сегодня, захваченные дежурством, шагая по проспекту и зорко глядя по сторонам, мы беспокоились только об одном: поймать бы ультрапреступника. Как сказал Гер Герыч, такого, чтоб сам комиссар Мегрэ ахнул.

— Парни! — вдруг жалобно предложил Академик, когда мы дошли до конца нашего маршрута и убедились, что ультрапреступником пока не пахнет.—

Потопали в штаб. Ведь нам разрешено наведываться туда через каждый час!

— Верно! — оживился Биль.— Доложим о двух задержанных нарушителях!

Марина и Жанна остались в штабе, и намерения наших донжуанов сразу стали ясными.

В штабе народу было немного. Люсик о чем-то беседовала с Гер Герычем, Марина и Жанна заполняли журналы, а дежурная группа «базарила» в соседней комнате.

— Ну, как дела, Соколов? — спросил Гер Герыч.

— Нормально! — ответил я.

— Пацаны курили! — сообщил радостно Мальчоныш.— Сами ростом меньше сигареты, а дым даже из ушей валил!

Учитель и Люсик улыбнулись.

— Что же вы сделали? — спросил Гер Герыч.

— А ничего! — махнул рукой Мальчоныш.— Перекрыли все дырки, из которых шел дым,— и порядок!

За дверью послышался шум. В штаб ввалилась группа Саньки Рюмова. Впереди растерянно шли парень с девушкой.

— Нарушали общественный порядок! — доложил Рюмов.— Целовались. Два раза. На улице.

Люсик повернулась к задержанным и строго спросила:

— Целовались?

Они виновато смотрели на нее.

— Что же вы молчите?

— Целовались, целовались! — подхватил Рюмов.— У меня даже свидетельница есть. Домашний адрес, номер паспорта!

— Так что ж, значит, нарушали общественный порядок? — допытывалась Люсик.

— Было дело! — наконец выдавил парень.

— Значит, было! — повторила Люсик.— А давно встречаетесь?

— Порядком! — буркнул задержанный.

— Двадцать семь дней! — дрожащим голосом вставила девушка.— Причем каждый день!

— Ишь ты! — удивленно покачала головой Люсик, грустно улыбнулась.— То ли дело — спрятаться в парадном, а? Или хотя бы дождаться темноты...— Она помолчала и добавила: — Ступайте! И не нарушайте больше!

Парень с девушкой ушли.

Люсик повернулась к Рюмову и пристально посмотрела на него.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать! — буркнул он.

— А мне показалось, восемьдесят!— качнула головой Люсик.— Впрочем, этого не объяснишь! Ну, сделай ты им замечание, но не порть настроения!

— Может, пойдем? — позвал я парней.

Мы вышли.

— Молодец эта Люсик! — восхищенно воскликнул Биль.

Наступили сумерки, и работы прибавилось. А может, мы уже привыкли и стали обращать внимание на мелочи, мимо которых обычно проходили равнодушно. Правда, мы не стремились вести провинившихся в штаб — нам было приятнее поддерживать порядок, чем повышать процент задержаний.

На крыльце дома четыре парня под гитару старательно перевирали Высоцкого. Мы немного послушали их нытье, и Биль не выдержал.

— Я сейчас всех арестую! — сердито пробормотал он.— Врут Высоцкого! На пятнадцать суток бы их!

...Уже совсем стемнело, когда мы вернулись к штабу. В дверях столкнулись с Гер Герычем.

— Хорошо, что вы пришли! Ну-ка идемте со мной!

Мы отправились. Шли быстро. Гер Герыч на ходу объяснял:

— Какой-то пьяный хулиган жену бьет.— Он помолчал, затем зло добавил:— Ненавижу таких. Соседка звонила, чтоб быстрее шли.

— В милицию отправить! — строго сказал Мальчоныш.

Хулиган жил через две улицы от штаба, и последние метры мы почти бежали. Гер Герыч первым влетел на третий этаж и позвонил. Открыл мальчик лет восьми. Увидев нас, зашмыгал носом и пролепетал:

— Идите скорее!

Из комнаты доносился негромкий плач женщины и пьяный мужской крик: «Я тебе покажу!» Мы ворвались в комнату и оцепенели. У окна, приложив к губам мокрую тряпку в крови, сидела наша учительница по математике Анна Андреевна. За столом в брюках и майке устроился Петрович. Наклонив голову, он стучал кулаком по колену и выкрикивал:

— Я тебе покажу!

Анна Андреевна сразу узнала нас. Глаза ее наполнились ужасом, и она с криком выбежала в другую комнату.

— Чего надо? — пьяно бросил нам Петрович, но, заметив, что нас много, вскочил и зарычал:— Кто пустил?

— Убью! — крикнул Сэм и с перекосившимся от ярости лицом пошел на него.

Петрович попятился.

— Блинов, стойте! — воскликнул Гер Герыч.

Он схватил Сэма за локти и с силой оттолкнул его. Петрович в это время пристально смотрел на меня и наконец узнал.

— А, и ты здесь! Вояка! — забормотал он.— Ну, еще бы. Магазин заколотил, теперь за меня принялся.

Однако хмель из него явно выходил. Он посмотрел на парней, на Гер Герыча

— Учитель! — Он указал на меня:— Ему ставь пятерку. Он меня не боится!

Гер Герыч взглянул на Петровича, ткнул пальцем в центр оправы и сказал:

— Вот что, ребятки, подождите меня внизу!

— А как же...—Сэм кивнул на Петровича.

— Не бойтесь! Я из него... Подождите внизу!

Мы вышли. Молча уселись на крыльце и стали ждать.

— Сами виноваты! — наконец промолвил сердито Академик.— Только болтали. Надо было давно с ним разделаться!

Сэм сжал кулаки.

— Ух, я бы его!

— Парни! — сказал я негромко.— Надо предложить Гер Герычу: мы здесь не были, ничего не знаем и не видели. Пусть поговорит с Анной Андреевной. А завтра возьмем Петровича за жабры!

Гер Герыча долго не было. Наконец он явился.

— Ждете? — спокойно спросил он.— Спать лег. Протрезвел, как увидел тебя, Соколов! — полушутя добавил он. Потом негромко сказал: — Вот что, ребятки, пусть это останется нашей с вами тайной. Договорились?

— Вы о чем, Герман Германович? — спросил Дипломат.

— О визите!

— Какой визит, Герман Германович? Не знаем ничего!

— Я так и сказал Анне Андреевне.

Мы опять замолчали. На душе было — словно мы упустили преступника, за которым столько лет гонялся комиссар Мегрэ.

14

Ну, вот и все! Сегодня последний день. Впереди солнце, свобода и узаконенное тунеядство. Но мне почему-то грустно. Словно выучил урок — и не вызвали. Неужели жалко расставаться с заводом?! Ведь совсем еще недавно мечтал об этом, считал дни, а теперь... Нет, разумеется, отдохнуть — это хорошо. Почернеть на солнце, проветрить мозги — превратиться в дитя природы. Хотя вполне понятно, почему жаль расставаться с заводом. Да, привык. Да, нравится. Кстати, теперь мне выражение «рабочий класс» кажется очень близким. Теперь у меня это понятие связано со знакомыми именами: Иван Семенович, Игнат, Василевский, Тахта. Люсик, Бобчинский с Добчинским, тот неизвестный рабочий, который научил меня дыры пробивать. Да что там, целый завод! И не только завод. Сегодня утром, за завтраком, Игорь, взглянув на меня, сухо спросил:

— Ну что, значит, все?

— Что ты имеешь в виду? — поднял я на него глаза.

— Завод! — пожал он плечами.

— Да!

— И не жалко расставаться? — спросил он строго.

— Почему же! Есть немного.

— К заводу быстро привыкаешь! — вздохнула Вера.— Если нравится работа, конечно!

— Если не нравится, так и министром скучно быть!—хмуро бросил Игорь и хитро спросил меня:— А что, Димка, ты когда-то спрашивал: «Не скучно тебе все о заводе и заводе!» Ну, и как сам теперь думаешь?

— Вроде не скучно, только если все пойдут на завод рабочими, кто же, например, инженером будет?

— А никто! — как бы обрадовался моим словам Игорь.— Ведь работа на заводе с каждым днем усложняется. Станки, детали. Придет время, рабочие будут с образованием инженера.

— Ну, значит, они не будут называться рабочими!

— А как же?

Я пожал плечами.

— Не знаю! Придумают как-нибудь!

— Нет уж, позволь! — Игорь отодвинул от себя чашку с кофе.— Ты что глупости несешь? Да как же это не называться рабочими, а? Да это же для нас вроде фамилий! Звание наше! Слыхала, мать, что твое чадо несет? Если хочешь знать, Димка, теперь Государственные премии, между прочим, присуждают не только выдающимся ученым, художникам, литераторам, но и нам, рабочим. Вот, значит, и среди нас объявился лауреат. Так что мы теперь получаемся: рабочий интеллигент. Понял, интеллигент-рабочий! Съел?

По дороге на завод я все время думал над словами Игоря. Пожалуй, он прав. А когда я приблизился к проходной и слился с толпой рабочих, здоровался, перебрасывался замечаниями, улыбался шуткам, вдруг почувствовал себя здесь беспомощным и слабым. И тут я понял. Кроме уважения и признания, у меня к ним еще и зависть.

Для родителей, быть может, я еще ребенок, для учителей — ученик, для каждого в отдельности я маленький. А для всех вместе, для общества я взрослый. Мы постоянно ищем себя. Только, может, ищем не там? Не в профессиях надо искать себя. А в людях. В них можно открыть себя, найти свою дорогу в жизнь.

Я помчался к себе на участок. Бригада как раз вся была в сборе. Кое-кто уже поднялся, чтоб идти на рабочее место.

Игнат, увидев меня, хмыкнул и демонстративно посмотрел на часы.

— Опаздываешь! — ехидно заметил он.— Придется тебе, Димка, за это со мной сегодня работать. На крыше варить будем!

Я вздохнул, помотал головой и обратился к Ивану Семеновичу:

— А я уже все!

— Что все? — недоуменно уставился он на меня.

— Отработал! Сегодня последний день.

— Вот как, а я забыл, что ты у нас гость! — Иван Семенович, улыбаясь, встал и протянул мне руку.— Ну, что ж, как говорится, будь здоров! Учись, не забывай завод, нас!

Он крепко пожал мою руку. Подошли все.

— Значит, сбегаешь? Жаль! Я бы из тебя такого сварщика сделал! — серьезно сказал Игнат и вдруг усмехнулся.— Сварщик бы ты получился мировой! Потому как вылечился от детской болезни!

— Учись, понимаешь, на пятерки с плюсом! — улыбнулся Василевский.

— На, держи! — Иван Семенович протянул мне новый разводной ключ.

— Зачем? — опешил я.

— На память! Пригодится дома!

— Точно! — кивнул Василевский — Бери. Теперь тебе можно доверить инструмент!

Игнат подарил мне знакомый уже шлямбур и, конечно, оскалился на все тридцать два зуба.

— Держи! Для себя делал! Шлямпер!

Я стоял смущенный и взволнованный. Хотелось произнести какую-то возвышенную речь. С восклицательными знаками. А пробормотал только:

— Спасибо! Честное слово, я не забуду завод и вас!

Я взглянул на крайний верстак, где сидел Петрович. Он не прощался со мной и даже не смотрел в мою сторону. Словно меня нет. Я понимаю, он здорово зол на меня. Бывший мастер Петрович. Мы с ним все-таки разделались. Можно сказать, нокаутировали.

На другое утро после нашего дежурства, перед самым инструктажем, когда бригада уже вся собралась, на участке появился Петрович. Лицо его было опухшим, под глазами вздулись мешки. Игнат, сидевший рядом со мной, негромко сказал:

— Эх, как разнесло, беднягу! Словно побили человека!

Я вспомнил вчерашнюю сцену: пьяно бормочущего Петровича, несчастную Анну Андреевну с носовым платком в крови, испуганного мальчика в дверях, и сердито заметил:

— Не мешало бы!

Игнат удивленно взглянул на меня.

— Ты чего такой бойкий?

— Да ладно! — отмахнулся я.

Тут открылась дверь, и на участке показался Гер Герыч и мои парни. В их лицах было что-то строгое и решительное. Парни взглядами отыскали меня и приблизились.

Петрович, увидев учителя и парней, настороженно повернулся к Гер Герычу.

— В чем дело? — хмуро спросил он.

— Сейчас объясню! — кивнул Гер Герыч и повернулся к бригаде.—Мне бы хотелось, товарищи, отвлечь вас ненадолго и рассказать об одном из ваших коллег. Конечно, быть может, и не следует подрывать авторитет, только мне думается, что нельзя скрывать правды!

Петрович все понял. Он резко повернулся к Гер Герычу и чуть не закричал:

— Вы не имеете права! Кто вы такой? Я попрошу удалиться из помещения, подчиненного мне!

— Я коммунист! — кажется, впервые в жизни резко ответил наш Гер Герыч.— Имею такое же право вмешиваться в дела завода, как вы имеете право интересоваться школьными делами! А помещение у нас, товарищ Лычагин, вся страна. И этот завод, и моя квартира, и даже ваша, где вы ведете столь отвратительный образ жизни. Пьете, избиваете жену, мать ваших детей, женщину...

— Вы что, видели?! — взвизгнул Петрович.

— Обожди, Петрович,— прервал его Иван Семенович. — Человек складно говорит. Ты послушай его...

Петрович обмяк, словно резиновая игрушка, из которой выпустили воздух.

— А ты, учитель, продолжай! — крикнул Игнат.

— Правильно! — подхватил Василевский.— Не дрейфь, понимаешь!

— Собственно, я уже все сказал! — пожал плечами Гер Герыч.

— Можно мне? — воскликнул Академик, выходя чуть вперед.

Петрович вскинул голову.

— А это еще кто?!

— Я! — повернулся к нему Академик.— Ученик Анны Андреевны! Вашей жены! Учительницы, над которой вы издеваетесь! И мы... мы не позволим, чтоб вы мучили ее...

И тут меня сорвало с места. Я выскочил вперед и перебил Академика:

— Как человек может быть таким хамелеоном? На работе — один, дома — другой! Получается, что вы, Петрович, везде играете. И дома и на работе! Так какое же ваше настоящее лицо? Там или здесь?..

Вот так всегда, хочется сказать много и веско, а как доберешься до слова, так несешь ахинею. Но тут меня отстранил Биль. Он медленно заговорил:

— Стыдно и больно смотреть, как на глазах опускается человек. Нет, не мы должны были говорить ему это. Вы нас заставили. Да, вы! Потому что вы молчите! Боитесь: ведь он ваш мастер! Его жена с ужасом прислушивается к пьяным шагам мужа, сын дрожит при виде выпившего отца, а коллектив, которым он руководит, его слушает, уважает.

Биль замолчал. Речь его была не совсем складной, но подействовала. На участке стояла тишина. Неожиданно раздался твердый голос Василевского:

— Петрович, пиши, понимаешь, заявление!

— Верно! — поддержал Игнат. — Нам перед пацанами стыдно!

Петрович крикнул:

— Ну, уж это вы не имеете права!

— Право-то мы как-нибудь найдем! — поднялся Иван Семенович.— И ребята верно сказали, что мы с тобой много цацкаемся! Ведь ты же мастер! И с тебя двойной спрос! Только, думаю я, нет у тебя этого понимания, а значит, не можешь ты быть мастером, и все.

— Не вы меня ставили сюда! — обиженно сказал Петрович.

— Не мы ставили, но мы снимаем! Коллектив! — отрезал Иван Семенович.— И я думаю, товарищ Лычагин, вам лучше всего признать свои ошибки.— Он помолчал и уже мягче добавил:— Знаешь, Петрович, оставайся у нас в бригаде сантехником. Честное слово, тебе же лучше будет. И работа знакома и люди. А с руководством я сам все улажу... Спасибо, ребята,— повернулся он к нам.

...Я распрощался с бригадой и помчался на проходную. Бежать было легко. Словно меня отпустили с контрольной.

Весь класс уже был в сборе. Лица у всех блаженные, веселые. Кто-то бодро объясняет вахтеру, что мы больше ходить на завод не будем. Чуть в стороне стояли мои парни. Взглянув на шлямбур и разводной ключ, они ехидно переглянулись...

— Подарили! — с гордостью сказал я.

— От радости, что избавились! — хмыкнул Биль.

Все засмеялись. И только Мальчоныш никак не прореагировал. Наши взгляды встретились. Он жалко улыбнулся и отвел глаза. И тут меня кольнуло: ведь он расстается не только с заводом, но и с Ириной. Ему, конечно, не до веселья.

— Эдька... Эдик...— Я не знал, что сказать.

Парни, видимо, до моего прихода говорили с ним на эту тему, потому что Академик тут же подхватил:

— Дик, скажи ему, что он не должен так огорчаться. Если захочет, он сможет всегда ее увидеть.

— Конечно, Эдик! — убежденно воскликнул я.

— Я понимаю, парни, понимаю,— торопливо закивал он и виновато улыбнулся: — Знаете, какая она замечательная...

Из кабинета инспектора по кадрам выглянул Гер Герыч и позвал:

— Ребята, идите сюда!

И вот мы опять в кабинете «Требуется сказать». Он, как и в тот, первый раз, сидел, сложив свои пухлые руки на столе. У окна стояла секретарь комитета комсомола Люсик. Она, улыбаясь, смотрела, как мы втискиваемся. Когда класс притих, инспектор по кадрам поднялся.

— Что ж, ребята,— сказал он многозначительно.— Вот и кончилась ваша практика. Поработали вы, требуется сказать, молодцом! Хорошо! Познакомились, значит, с заводом, рабочими, поняли, что такое и с чем это едят. И, наверное, уяснили себе, что рабочий — самая главная фигура в нашей стране, и вообще, требуется сказать, работать у нас интересно. Вот так, лохматые!

Мы зааплодировали. От души.

Инспектор по кадрам поднял руку, чтоб мы успокоились, а затем сказал:

— Слово предоставляется секретарю комсомольской организации Люсе Орловой!

— Да будет председательствовать! — бросила с усмешкой Люсик, помолчала секунду и заговорила:— Ну что, ребятки! Спасибо вам за работу! Мы не расстаемся сегодня навсегда. Завод шефствует над вашей школой, так что, думаю, мы еще не раз встретимся. И все-таки мне бы хотелось сказать вам, ребята, вот что. Дело совсем не в том, будете ли вы когда-то работать на заводе, в лаборатории или за письменным столом. Главное — это работать честно, по-настоящему, потому что ваш труд пойдет людям, обществу. Всем. И это можно понять лучше всего у нас, на заводе... Счастливо вам, ребята, отдохнуть летом.

Мы снова зааплодировали.

— Ребята, тихо! — крикнула она.— Комитет комсомола завода решил за хорошую работу предоставить вам неделю провести в нашем палаточном городке.— Люсик улыбнулась.— На берегу озера, палатки, костер, лодки. Месяц поработали, неделю отдыхать...

Из проходной мы высыпали как обычно. Шумно и все вместе.

До свидания, завод. До свидания, открытая наша страна. Страна, в которой живут прекрасные, сильные люди.

г. Рига.

Марк Лисянский

Стихотворение в скобках

(В небе месяц горит молодой,
Он похож на открытую скобку.
Был когда-то и я не седой —
Темнокудрый, безусый и робкий.
Был беспомощен — птица без крыл,
Впрочем, стоит ли нынче об этом!..
Но поскольку я скобку открыл,
Ослепленный божественным светом,
Надо слово возвысить, пока
Не закроется скобка ночная
И, небесный маршрут совершая,
Месяц врежется в облака.
Я взрослел, я любил, я мечтал,
Жизнь меня по дорогам мотала.
Голос крел — появился металл,
А в душе не хватало металла.
Я хлебнул и вина и огня,
Наглотался и дыма и пыли.
Быть счастливым учили меня,
Только плохо, как видно, учили.
Под луной города и моря,
Затуманились горы и сопки,
Закрывается скобка моя,
Ну, а жизнь не вмещается в скобки.)

✪

Мне бабье привиделось лето,
Простор золотого тепла,
И ниткою ясного цвета
Во сне паутинка плыла.

Плыла эта тонкая нитка
Меж солнечным небом и мной —
Умолкшего леса попытка
Меня породнить с тишиной.

Последнею лаской согрета,
Пронизана солнцем самим,
Сквозным дуновением лета
И легким дыханьем моим.

Держась на сверкающей точке,
Роняя сквозь ветки росу,
На желтом кленовом листочке
Плыла паутинка в лесу.

Вбирая сияние это,
Я думал: всему свой черед —
И бабье окончится лето,
И поздняя осень придет.

Одна на двоих паутинка,
И лето одно на двоих.
Уже серебрится сединка
В каштановых косах твоих.

Осенний лес

Ветер дымные туманы
С моего согнал пути
И ковер золототканый
Бросил под ноги: иди!

Под березовым навесом
Я иду и не спешу.
Я брожу осенним лесом
И дышу, дышу, дышу.

Сквозь редеющие кроны
Луч пролился с вышины,
И на листиках лимонных
Жилки тонкие видны.

В желтый ливень листопада
Ветер шлет своих коней.
Острой свежестью прохлада
Лес пронзает до корней.

Эта свежесть не заденет
Вас ни летом, ни зимой.
Ах, как пахнет лес осенний,
Ах, как пахнет, боже мой!

Ксении Петровне, матери моего друга

Ей много лет. Она стоит у гроба
Единственного сына своего,
Как тень окаменевшего сугроба
Над пропастью, отверстой для него.

Я знаю, как трудны минуты эти,
Когда, законам жизни вопреки,
Не стариков своих хоронят дети —
Своих детей хоронят старики.

Ей много лет. Ее утешить нечем.
Не из железа сделан человек.
И горько ей, что так небыстротечен
Ее отныне одинокий век.

Она молчит. Она уже не плачет.
Ей кажется вокруг темным-темно.
Лишь изредка в платочек белый прячет
Свое лицо, и светится оно.

И светится лицо печалью ровной,
Как будто в ней все слезы матерей —
От Евы и до Ксении Петровны,
От этой матери до матери моей.

Пируют птицы

Хлолочут лодмосковные
Сороки и синицы.
Сигнапы шпют условные
Всезнающие лтицы.

Они с утра до вечера
Погодою пюбою
На смешанном наречии
Топкуют меж собою.

О том, что дни ненастные
Приносят им заботу
И хищники опасные
Выходят на охоту.

О том, что ночки — долгие,
Денечки — убывают,
О том, что пюди добрые
О них не забывают.

На зорьке травы с лроседью,
Но птицы не горюют.
Пируют лтицы осенью,
На всех ветвях лируют.

Дрозд ягодку холодную
Съеп, в ней души не чая,
Рябину черноплодную
Лесной предлочитая.

✪

Говорю «лрощай-прости»
Спавной Боткинской больнице
И желаю локпониться
Всем, кто смог меня спасти

От лечапьных новостей,
И гремящих микрофонов,
И болтливых телефонов,
И непрошеных гостей,

От хандры, грозящей мне,
От злонравной ишемии,
Поселившейся влервые
В загрудинной гпубине.

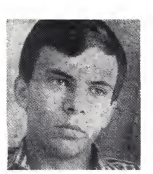
Непременно я хочу
В белы ножки локпониться
Вам, дежурная сестрица,
Санитарке и врачу.

И тебе, моя родня,
И друзьям моим любимым,
И стихам незаменимым,
Не локинувшим меня.

И себе — за то, что сам
Поняп истину лростую,
Не лростую — зопотую,
И ее открою вам.

Медицину не браня,
Изреку такое мненье:
Все зависит от меня,
В том чиспе — выздоровленье!

Игорь Селезнев



Игорь Селезнев — студент пятого курса филологического факультета МГПИ имени Ленина. Ему 21 год.

✪

Все в округе, кого ни возьми,
видят:
мапьчик у окон маячит,
за слиною тетрадочку лрячет,
за которую пяжет костьми.

Мапьчик тот —
мой знакомый ло школе.
Отпичается сипою вопи.
А тетрадка такому лод стать.
Приходипось ее мне листать.

Знаки,
    меты,
        обеты,
            словечки,
тайны, тайны — еще и еще...
Так что можно всегда, если что,
от нее танцевать,
как от печки...

Преспокойно, у всех на виду
своему потакая лонятью,
всюду ходит он с этой тетрадью,
заготовками дразнит судьбу.

Ветки

На вас всегда сидепи лтицы —
дрозды, малиновки, синицы.
По дереву лрошеп топор,
и вы лопадапи в костер.

И вот вы запылали, ветки!
От нас уходите навеки!
А к вам навек привыкли лтицы —
дрозды, малиновки, синицы.

Но в осени разлуки цвет.
А он не может стать любимым.
И, лоднимаясь горьким дымом,
за птицами летите вслед.

«Почему у меня нет друзей?..»

Дорогая редакция, я обращаюсь к вам со своим горем, хочу посоветоваться.

Я учусь в 9-м классе, мне скоро будет 16 лет, но у меня нет друзей. А ведь без друзей на свете жить невозможно, и я это знаю. Быть может, я сама в этом виновата. У нас в классе очень много хороших ребят, но для меня они одноклассники или просто хорошие знакомые, а такого человека, с которым можно интересно провести время, поспорить, поделиться мыслями, нет. Коротко я вам расскажу о себе. Первые шесть лет я училась в одной школе, затем мы переехали, и я перешла в другую школу. И вот с этого момента я поняла, что я одинока. Быть может, я повзрослела, или, быть может, ребята в новой школе были другие, но я поняла, что по-старому уже больше жить нельзя, и начала перевоспитывать сама себя. Раньше, когда я училась в старой школе, я действительно была плохим товарищем и вообще нехорошей девчонкой.

Как жаль, что я поняла только сейчас: я была жадной, хвастливой, ставила себя превыше всех (потому что была круглой отличницей), естественно, меня не любили и даже презирали, и было за что. Вероятно, поэтому у меня и не было подруг.

Перейдя в новую школу, я изменилась: стала общительней, веселей, охотно стала помогать товарищам, перестала задирать нос (правда, я уже не была отличницей, а только хорошисткой). Новые товарищи более или менее уважают меня и даже называют меня «хорошей девчонкой», но друзей у меня по-прежнему нет. Мне очень это обидно, ведь я, как мне кажется, не такая уж плохая, люблю современную и классическую музыку, танцы, люблю поэзию, природу, участвую в общественной работе школы и своего класса, помогаю товарищам, посещаю спортшколу. Мне страшно обидно, когда другие девчонки с подругами ходят в кино, в то время как я сижу дома одна. Еще во время уроков ничего, большая часть времени уходит на подготовку, но зато каникулы стали для меня в тягость. Быть может, все эти беды происходят оттого, что я слишком стеснительная. Но я по мере своих сил стараюсь быть смелей, и все же с некоторыми людьми, чаще со всеми, кроме самых близких, я не могу найти общего языка. Вот бывает так, что встретишься, допустим, на каникулах с одноклассницей, скажешь «здравствуй», «как поживаешь?». И молчок. Стоишь, молчишь и думаешь, как бы поскорей уйти (а то молчание становится в тягость). Прямо как «здравствуй и прощай». А знакомиться я совершенно не умею. Другие девчонки иногда на 3 дня уедут, и то успеют познакомиться, а я в этом году ездила в гости на целых полтора месяца, и все это время просидела, проскучала «взаперти», хотя меня никто не запирал. А мне так хочется побыть среди своих сверстников, узнать, о чем они думают, чем живут.

В своих мечтах я себе представляю, что у меня есть хороший друг или подруга и много хороших друзей, но это только мечты. Я очень много думала об этом и вообще о жизни, но так ни до чего и не додумалась и вот набралась смелости и написала вам.

Дорогая редакция, я очень вас прошу, посоветуйте мне, как быть, как жить дальше, ведь я только вступаю в жизнь.

Люда К.

г. Татарск,
Новосибирской обл.

✪

Тяжело быть совсем одному, но много тяжелее быть одиноким среди людей...

Мы сразу замечаем, если кого-то близкого вдруг не окажется рядом. Идем к нему домой, когда он болеет, приносим соки и конфеты, рассказываем о делах, подбадриваем, шутим. И делаем это для того, чтобы он ни минуты не чувствовал себя одиноким. Но почему те же самые «мы» часто не замечаем, что кто-то, каждый день находясь среди нас, все-таки остается один?

Давайте подумаем об этом. Подумаем и ответим автору письма.

Ждем ваших писем.

Лидия
ЯНОВСКАЯ

«...БРОСИЛ ЗВАНИЕ С ОТЛИЧИЕМ И ПИСАЛ...»

«Я ОПИСАН НЕСПРАВЕДЛИВО»

Помните «Театральный роман»? Герой романа Максудов, размышляя о том, выйдет ли из него писатель, вдруг ужасается мысли: «А ну, как выйдет такой, как Ликоспастов?»

Прототипом Ликоспастова, одного из самых впечатляющих и остросатирических образов «Театрального романа», был для Булгакова писатель Юрий Слезкин.

Образ Ликоспастова великолепен и зрим независимо от того, знает читатель о конкретном прототипе этого персонажа или не знает. И, пожалуй, не стоило бы тревожить память покойного Слезкина — уж очень жестока сатира Булгакова! — если б не то обстоятельство, что прототип этот в ряде литературоведческих работ уже раскрыт, причем с целью несколько неожиданной.

Дело в том, что в пору, когда Булгаков начинал свою литературную деятельность (а было это в 1920—1921 годах во Владикавказе, который теперь называется городом Орджоникидзе и является столицей Северной Осетии), он познакомился и близко сошелся с весьма популярным тогда беллетристом Ю. Слезкиным. Позже, в Москве, в 1925 году, Слезкин опубликовал роман «Девушка с гор», скучный и вполне бездарный роман, в котором, однако, можно было узнать Владикавказ, некоторых людей, с которыми и Слезкин и Булгаков встречались там. Но главное — в центральном персонаже этого сочинения, человеке крайне несимпатичном, скрытном, осторожном и социально двусмысленном, потрясенный Булгаков узнал... себя!

Сомнений быть не могло. Уже был закончен, уже начал печататься роман Булгакова «Белая гвардия», и автобиографического героя этого романа, доктора Турбина, звали Алексей Васильевич! Героя Слезкина тоже звали Алексей Васильевич, и был он врач, оставивший медицину для литературы...

Это была клевета, преподнесенная с улыбкой друга (Булгакову свой роман Слезкин подарил). Поклеп, начиненный точнейшими приметами. Короче, это было очень похоже на то, что изобразил потом Булгаков в «Театральном романе»: «Я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, промокашку на столе... Иначе говоря, в рассказе был описан... я!

Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза... Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист и чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил!»

Но вот одна за другою выходят литературоведческие статьи (М. Чудакова «К творческой биографии М. Булгакова».— «Вопросы литературы», 1973, № 7; В. Чеботарева «М. Булгаков на Кавказе».—«Уральский следопыт», 1970, № 11; ее же, «К истории создания «Белой гвардии».— «Русская литература», 1974, № 4), научные статьи с солидным справочным аппаратом, буквенными обозначениями архивов и цифровыми обозначениями фондов, с квалифицированнейшим описанием материалов, впервые, как справедливо указывает один из авторов, вводимых «в научный обиход». И в этих статьях абсолютно серьезно, правда, с многочисленными «на наш взгляд», «как кажется» и «как можно предполагать», по пасквилю Слезкина реконструируется образ молодого Булгакова. Как мысли Булгакова цитируются размышления героя Слезкина. Более того. Герой Слезкина пишет роман. И вот уже на основании этого романа в романе (!) реконструируется первый роман Михаила Булгакова, определяется его тема, идея, герои... «Само это отражение неизвестного нам романа одного писателя в известном романе другого — любопытная историко-литературная проблема»,— пишет М. Чудакова.

Добавлю: бесперспективная проблема. Ибо молодой Булгаков писал совсем другой (кстати, частично сохранившийся) роман. И таким человеком, каким изобразил его Слезкин, не был.

А каким был?

«...БРОСИЛ ЗВАНИЕ С ОТЛИЧИЕМ И ПИСАЛ...»

Это строки из автобиографии Михаила Булгакова: «В начале 20-го года я бросил звание с отличием и писал...» «Звание лекаря с отличием» значилось в его университетском дипломе.

Михаил Булгаков берег даты. Дорогие для него даты рождения замысла, даты начала или окончания рукописи. Записывал их. В черновых тетрадях романа «Мастер и Маргарита» часто проставлены месяц и число, когда создавалась или переписывалась та или иная глава, страница...

В конце 20-х годов другу своему П. С. Попову сказал примерно следующее: «Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». (Эти слова в записи Попова сохранились.) Что скрывается за этой датой?

В феврале 1920 года в оккупированном деникинцами Владикавказе — промозглый туман и настороженная тишина. Последние недели перед окончательным разгромом белых на Северном Кавказе. Уже взят Первой Конной Ростов. Вот-вот в скованных лютыми морозами Сальских степях начнется общее и победное наступление через Маныч...

Владикавказские газеты публикуют выразительные объявления о том, как по сходной цене можно выехать на юг, в Тифлис...

Мне известны только два факта литературной биографии Булгакова, датируемые февралем 1920 года.

6 или 7 февраля (по старому стилю) в местной газете он опубликовал прозаический фрагмент. Я не знаю ни названия, ни жанра этого фрагмента. Булгаков вырезал ножницами для ногтей три прямоугольных кусочка из газеты и послал сестрам в Киев. Эти кусочки сохранились (ныне хранятся в Отделе рукописей Библиотеки имени Ленина). Текст их, конечно, имеет отношение к будущему роману «Белая гвардия» и к будущей пьесе «Дни Турбиных».

Перестрелка на улицах города... Милый, родной, конечно же, киевский дом... И Коля, тот самый Коля, который потом пройдет перед нами Николкой в романе «Белая гвардия» и выйдет к рампе в «Днях Турбиных» со своей гитарой, и даже песня его в этом отрывке та же, знакомая нам по «Белой гвардии» и по «Дням Турбиных»:

Здравствуйте, дачницы,
Здравствуйте, дачники.
Съемки у нас уж давно начались...

На обороте этих прямоугольных клочков газеты — рекламные объявления, по которым можно датировать номер и даже установить название газеты. Во Владикавказе выходило не так уж много газет. Судя по шрифтам и характеру объявлений, это «Кавказская газета». Но самый экземпляр «Кавказской газеты», несмотря на упорные розыски в библиотеках и архивах страны, мне найти не удалось.

Другой факт датируется 15 февраля (ср. с записью П. С. Попова). В этот день (по старому стилю) во Владикавказе начала выходить «ежедневная, беспартийная, политическая», но главным образом литературная газета «Кавказ». Первая страница ее была украшена рядом московских и петербургских имен. В числе сотрудников назван Михаил Булгаков.

До сих пор неизвестно, успел ли Булгаков что-нибудь в этой газете опубликовать. Через несколько дней его свалил возвратный тиф. Он плавал в жестоком жару, чередовались недели беспамятства и просветлений, и несколько раз его жена Татьяна Николаевна, боясь, что он до утра не доживет, бежала за врачом в ночь, замирая от ужаса перед каждой тенью, которая могла оказаться вооруженным человеком.

Когда же он поднялся, во Владикавказе была Советская власть и весна — в полном разгаре.

ВОТ ОН, ПОДОТДЕЛ

В яркий апрельский день, еще пошатываясь на ходу, с палочкой, голова обрита, Булгаков пришел в только что созданный Владикавказский городской ревком.

Первые дни восстановленной после гражданской войны Советской власти в Северной Осетии. Нет хлеба. Бандитизм. Крестьяне боятся выезжать на поля — вернешься без лошади. Да и вообще хорошо, если вернешься. Городское хозяйство Владикавказа запущено. Город захламлен. Случаи холеры — каждый день.

Владикавказскому ревкому очень нужны люди. Михаил Булгаков — на бледном после болезни лице его лихорадочной и веселой жаждой деятельности горят глаза — получает назначение в подотдел искусств. Заведующим литературной секцией. «Лито».

Жизнь налаживается. Голодная, неустроенная, пронзительно светлая. Во Владикавказе начинают выходить газеты — на русском языке и на осетинском. На здании городского театра натягивается красное полотнище: «Первый советский театр». Артисты есть. Зрителей сколько угодно. Нужен настоящий репертуар — классический и современный. Через месяц здесь пойдут Островский и Гауптман, а потом для этого театра напишет свои первые пьесы Михаил Булгаков.

Литературная секция ничего не издает: нет бумаги. Даже газета выходит то на четырех, то всего лишь на двух полосах, и формат ее не всегда одинаков. Но концерты — почти каждый день. Концерты после митингов, концерты после воскресников. Вечера симфонической музыки, вечера стихов. И непременно с лекциями, с так называемыми «вступительными словами» — о Пушкине и Чехове, о Гайдне, Бахе, Моцарте.

Организация лекций — обязанность заведующего лито. Владикавказская газета «Коммунист» сохранила документ административной деятельности Булгакова — объявление в номере от 28 апреля 1920 года:

«В подотделе искусств.

Литературная секция подотдела искусств приглашает тт. лекторов для чтения вступительных слов об искусстве на концертах и спектаклях, устраиваемых подотделом искусств...»

Размах у заведующего литературной секцией был большой, и даже сообщалось, что приглашаются также «товарищи мастера поэзии и прозы», желающие читать «курсы лекций по истории и теории литературы, о новых путях в творчестве, теории поэзии и т. д.», и что заведующий литературной секцией принимает ежедневно, кроме воскресений, от 11 до 12 часов по общегосударственному времени.

То ли «мастера поэзии и прозы» путали часы и приходили не по общегосударственному времени, то ли по какой-нибудь другой причине, но «вступительные слова» Булгаков чаще всего читает сам. Выступают и другие работники подотдела искусств, среди них адвокат по профессии и страстный любитель литературы владикавказский старожил Б. Р. Беме.

ДИСПУТ О ПУШКИНЕ

Концерты подотдела искусств пользуются неизменным успехом и бурно и пристрастно обсуждаются на последней странице газеты «Коммунист».

В газете работают очень молодые и преданные революции люди. Они считают, что в открывающемся перед ними невиданно новом мире — некоторые из них воевали за этот мир — невиданно новым будет все — и музыка и стихи. Борьба за совершенно новую — пролетарскую — культуру представляется им партийным, революционным долгом. Они еще не знают, как беспощадно и иронично относится В. И. Ленин к идее особой, пролетарской культуры, якобы возникающей независимо от культуры прошлого, еще не знают слов Ленина: «...только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру...» — эти слова прозвучат осенью 1920 года. Сейчас они пишут громкие, но очень слабые стихи,

организуют лекции о революционном творчестве, о пролетарской культуре и о футуризме, местную литературиую студию называют «цехом поэтов» и обличают «либеральные мечтишки» ораторов подотдела искусств «о приобщении пролетариата к буржуазиому искусству». Выражения при этом употребляются самые сильиые. Особенно достается А. С. Пушкину, а заодно — «цепляющимся за хвост революции» приверженцам Пушкииа — Булгакову и Беме. «Адвокат Беме,— с возмущением пишет критнк в иомере от 20 апреля 1920 года,— даже после соцналистического переворота ие преминул использовать для своей речи бесславиое пушкинское: «Увнжу лн народ освобожденный и рабство падшее...» Знают Пушкина эти критики плохо, цитнруют более чем прнблизительио.

Нападки на собственную персоиу Булгаков принимает с иронией. Время от времени отвечает. На той же последней странице газеты появляется его «Письмо в редакцию», в котором он уличает «в абсолютной музыкальной безграмотности» одного из своих критиков. Или другое письмо — с просьбой не путать его, Михаила Булгакова, с неким автором из этой же газеты, подписавшимся однажды буквами М. Б.

Но спор о Пушкиие кончиться миром не может. То, что Булгаков некоторое время молчит, только предвещает грозу. В июне объявляется диспут о Пушкине. И на диспуте этом Булгаков выступил оппонентом.

В газетном отчете одни из тезисов докладчика изложен так: «И мы с спокойиым сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся» («Коммунист», 1920, 3 июля).

Темноватое здание бывшего летнего театра стало ристалищем. Шаткий столик иа сцене. Вместо графина — бутылка с кипяченой водой. Молодым критикам Булгаков казался мастнтым и очень солидным — ему 29 лет. Его старенький серый костюм аккуратнейше отутюжен. Это привычка, и это вызов. Волосы тщательно расчесаны на пробор. Он сдержан и подчеркнуто интеллигентен. Он настораживает. Он возбуждает в людях желание яростио спорить, и это качество останется у него на всю жизнь — и в характере и в сочинениях.

Владикавказский критик, о котором Булгаков писал так: «Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкииа. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит!» — немедленно опубликовал о диспуте отчет, в котором назвал Булгакова «бывшим литератором» и пообещал, что на его выступление будет дан обстоятельнейший ответ. Ответ, однако, успеха не имел. Противник лежал на обеих лопатках.

«БРАТЬЯ ТУРБИНЫ»

В 1920—1921 годах Булгаков много писал. Писал прозу — рассказы, фельетоны, роман. Написал пять пьес — четыре из них во Владикавказе были поставлены. О судьбе двух, наиболее интересных, хочу рассказать.

В октябре или ноябре 1920 года на сцене «Первого советского театра» во Владикавказе была поставлена четырехактная драма Михаила Булгакова «Братья Турбины». Это была вторая его пьеса во владикавказском театре. Первая — одноактная комедия «Самооборона» — прошла летом того же года.

«Братья Турбины» шли с большим успехом — не менее четырех раз. «В театре орали «Автора!» и хлопали, хлопали...— писал Булгаков двоюродному брату.— Когда меня вызвали после второго акта, я выходил со смутиым чувством... Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: А ведь это моя мечта исполнилась... ио как уродливо: вместо московской сцены сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбиие, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь...»

Было ли что-нибудь общее между этой драмой и прославленной пьесой «Дни Турбиных», шесть лет спустя поставлеиной во МХАТе и вошедшей в историю советского театра?

Путь создания мхатовского спектакля подробнейше известен, и можно с увереностью сказать, что пьеса 1926 года была другая пьеса и герой ее был другой, хотя звали его так же — Алексей Васильевич Турбин. Но определенная связь между этими произведениями все-таки существует, сокровенная, творческая связь, и проходит она через роман «Белая гвардия», написанный в 1923—1924 годах.

Самое имя Алексея Васильевича Турбина, центрального персонажа обеих пьес, в течение многих лет было связано для Булгакова с представлением о герое, субъективно ему очень близком, в какой-то степени автобиографическом. Из приведенного письма видно, что в замыслах Булгакова оно появилось задолго до его владикавказской пьесы. Отмечу, что фамилию Турбин носил, как утверждал писатель, одни из его предков со стороны матери.

Текст «Братьев Турбиных» Булгаков уиичтожил в 1923 году, в разгар работы над «Белой гвардией». Но знаем мы о пьесе ие так уж мало. Пьеса шла — и сохраиилась театральная программка с перечнем действующих лиц, рецензия в местной газете, письма драматурга к близким.

Действие пьесы начиналось в доме Алексея. Надо думать, в том самом киевском доме, который так любил и который так обстоятельно описал в «Белой гвардии» М. Булгаков. И люди в этом доме жили почти те же, что и в «Белой гвардии», только, пожалуй, более юные и еще больше похожие на тех, что жили в доме Булгаковых.

Вася, студент,— младший брат Турбина. Сестра Леля, ученица консерватории. «Леля» у Булгаковых было уменьшительным от «Елена». И была жива их мать, которую звали так же, как мать Турбиных в «Белой гвардии»,— Анна Владимировна.

Беседуя по совсем другому поводу с первой женой Булгакова Татьяной Николаевной, я спросила, помнит ли она Александра Гдешинского, дружбу и переписку с которым Булгаков сохранил до последних дней жизни. «Александр Гдешинский? — раздумчиво переспросила она, и вдруг ее лицо вспыхнуло радостью воспоминания: — Саша Гдешинский! Он был скрипач!»

«Саша Бурчинский, скрипач...» Значит, и этот персонаж, названный в программке «Братьев Турбиных», связан с воспоминаниями юности, Киевом, домом.

Обратите внимание на кажущуюся странность в составе действующих лиц: горничная Алексея Турбина, горничная Анны Владимировны Турбиной. Пожалуй, для семьи Турбиных, если они действительно были похожи на Булгаковых, двух горничных многовато. Означать же это может только одно: герои пьесы живут на два дома, дом Алексея Турбина и дом Анны Владимировны. Ничего подобного нет ни в романе «Белая гвардия», ни в мхатовской пьесе. Но в 1918—1919 годах Булгаковы жили именно так: мать, по-прежнему остававшаяся главным авторитетом в семье, отделилась от взрослых детей и жила в доме доктора Воскресенского, своего второго мужа.

Женское нмя Кзт Рында. Ряд мужскнх нмен без пояснений — слншком много мужских имен для драмы о семье н о любви. «Братья Турбины» и не были драмой о любвн, хотя любовный мотнв здесь, вероятно, был. Вошла лн сюда история замужества рыжей Елены? Илн на главном месте оказалась нсторня любви Алексея Турбнна н Кзт Рында? Пылкая н счастливая любовь к юной Татьяне Лаппа, бывшая потрясеннем в студенческой юности Мнханла Булгакова, не отразнлась нн в одном из его зрелых произведений. Но, может быть, он отдал ей дань в пронзведенннх ранннх?

«Братья Турбнны» былн не любовной, но соцнальной драмой. Как, впрочем, все значительные пронзведения Миханла Булгакова. Были попыткой художника разобраться в непростых вопросах, поставленных перед ннм революцией н гражданской войной.

В рецензнн на спектакль («Коммунист», 1920, 4 декабря), недоброжелательиой и недостаточно внятной, тем не менее говорится, что действне пьесы прнурочено к «революционной весне 1905 года». Кроме героев нз мелкобуржуазной среды, в пьесе выведены были революцнонеры. Правда, рецензент раздраженно назвал нх «революцнонерами» (в кавычках) н, возможно, был прав: в «Белой гвардии» Булгакову революцноиеры тоже не удалнсь, в «Днях Турбнных» он нх н вовсе не вывел. В первом акте пьесы шел спор о революцнн и об искусстве н кто-то нз персонажей говорнл о «чернн», о «разъяренных Митьках н Ваньках».

Этн слова рецензента потрясли, и негодоваиие против ннх заняло большую часть его маленькой рецензин. «Мы заявляем,— пнсал критик,— что еслн встретнм такую подлую усмешку к «чумазым», к «черни» в самых гениальных страницах мнрового творчества, мы нх с яростью вырвем, искромсаем на клочья». Он не знал, что всего лншь через несколько лет пьеса с похожнм названием будет ндти на сцене Художественного театра — первая в Художественном театре советская пьеса о гражданской войне, первая для молодого поколения мхатовцев пьеса, пронизанная самой жгучей современностью,— и в первом акте ее один нз героев будет поноснть «богоносцев окаянных» мужиков, а другой — с ненавистью заговорит о большевиках, и тем не менее пьеса в целом будет утверждать победу н торжество революцин.

«СОЗДАТЬ ТЕАТР ДЛЯ ГОРЦЕВ...»

Автобнографическая проза Булгакова гротескна. В зтом ее прелесть. Историческая же нлн, еслн хотите, документальная сторона событий выглядела так. 1920—1921 годы иа Северном Кавказе, первый мирный год после гражданской войны — время бурного, стремнтельного расцвета нацноиальных культур.

Жажда театрального творчества колоссальна. Газета «Горская беднота» (1920, 1 сентября) публикует статью, и заголовок статьн — как лозунг: «Нужно создать театр для горцев» «...Нужно создать для ннх т е а т р. Это первейшая задача работы в области искусств средн горских народов. Но как ее осуществить? При отсутствии письменности и своего драматнческого творчества задача зта труднейшая».

Во Владнкавказе возннкает Народная драматическая студия (М. Булгаков читает в ней лекцни). Затем — в 1921 году — открывается Народиый художественный нинститут с театральным факультетом. В газете «Коммунист» сообщенне: «15 мая состонтся торжественное заседаиие по случаю открытня инститита. Порядок дня: ...выступление декана народного отделения М. А. Булгакова».

Создаются многочисленные национальные драматнческие кружкн — на всех языках многоиацнонального Владнкавказа. Наиболее популярны — осетннская самодеятельная труппа Б. И. Тотрова (он талантлнвый артнст и знтузнаст, еще до революцнн, преодолевая сопротнвление царских властей, органнзовавшнй первые осетннские драматнческие кружки). И ннгушскнй самодеятельный коллектив, возннкшнй при ннгушском отделе народного образования.

У ингушского театра — совсем ннкаких традиций. Даже таких слабых, как у осетннского. Не существует ннгушской письменности. (Только через два-три года З. Мальсагов предложит первый ингушскнй алфавит н одновременно напншет первую пьесу на ннгушском языке.) Пока онн репетнруют очень непрофессноиальную, хотя н благородную по содержанию пьесу, написанную по-русски еще до Октября. Миханл Булгаков проявляет к нх начиианню большой ннтерес, бывает на репетнциях, советует. Возобновляет свон дореволюцнонные спектакли Тотров. Новых пьес нет. 1921 год — н нн одной современной пьесы...

Тамара Тонтовна Мальсагова, ныие доцент уннверситета в Грозном, нсторнк, а тогда, в 1921 году, юная сотруднңца ннгушского отдела народного образоваиия н одна из первых ингушскнх актрнс, убеждена, что нменно нм, девушкам из нигушского иаробраза, принадлежала ннициатнва привлечь Булгакова как драматурга.

— Булгаков диктовал мне тогда пьесу «Братья Турбины»,— говорит Тамара Тонтовна,— н я предложила ему: «А вы напншите для нас пьесу!» Соавтор у Булгакова действнтельно был. По-моему, Пензулаеь, дагестанец по национальности, юрнст...

Впоследствни Булгаков утверждал, что написал зту пьесу за неделю. Называлась она «Сыновья муллы», еднственная дошедшая до нас владикавказская пьеса Булгакова. На сохраиившемся суфлерском зкземпляре, на титульном листе, карандашом, только одна фамилия: Булгаков.

Позже Тотров перевел пьесу на осетннскнй язык. Пока удалось установить только одно ее нзданне иа осетннском — в журнале «Фндиуаг» № 4 за 1930 год. Не исключено, что были и другие издання. Тотров сократнл пьесу, приспособнв ее к возможностям осетниского народного театра, заменил слово «ннгуши» словом «горцы» н придал осетннский оттенок именам... В публнкации «Фиднуага» автор тоже указан только один: Булгаков.

15 мая 1921 года ннгушский драматический кружок с участнем, по свндетельству Мальсаговой, профессноиальных актеров показал премьеру.

На сцене — семья ннгушского муллы, учителя Хассбота. Два сына у муллы — белый офицер Магомет, только что вернувшнйся с фронта, и революцнонер Идрис, студент.

Идрнс скрывается в сакле отца от полнцни, но зто не мешает ему непрерывно произноснть зажигательные речи — перед его другом подпольщнком Юсупом, перед отцом, перед братом — о бедственном положеини народа, о бесправии женщин, о старых н мрачных обычаях н о приближающейся революцин. «Что ты думаешь? — говорит он брату.— Что народу хорошо живется? Что он ие знает, куда деваться от счастья н довольства?.. Ты видел нашу бедноту, которая жнвет хуже рабов? Наших женщнн, которые тоже бессловесные рабынн? Всюду непроходимая темнота и невежество. Ты все зто видел? Вндел?»

Это была декларативная и очень наивная пьеса. Но антихудожественной она не была. Примитив, лубок? Может быть...

Известно, с каким успехом такие пьесы, декларативные и прямолинейные, как плакат, в первые революционные годы шли на подмостках красноармейских театров, на свежесколоченных сценах в селах и маленьких городах. Недостаток мастерства самодеятельные артисты возмещали энтузиазмом, а не искушенные в тонкостях театрального искусства зрители каждое слово свободы и правды принимали во всей его обнаженности и первозданной глубине.

Впоследствии Булгаков с изумлением и иронией вспоминал эту свою пьесу. Высмеял ее в «Записках на манжетах». Не пожалел в ее адрес самых язвительных и жестоких слов в автобиографическом и гротескном рассказе «Богема» (1925).

И все-таки это была пьеса Булгакова. Он всегда оставался самим собой, даже тогда, когда полагал, что изменяет себе. Сквозь громкие слова явственно пробивалась его затаенная мечта о мире и просвещении. Конфликт между сыновьями муллы и между муллой и его сыном-революционером, традиционный конфликт, на котором, казалось бы, построена пьеса, фактически так и не состоялся. «Ты, значит, революцией занимаешься? — неодобрительно говорит Идрису Магомет.— Смотри, ты очень рискуешь. Все это может плохо кончиться для тебя». И это «для тебя» в реплике Магомета главное. «Спасибо тебе! — кричит сыну старый Хассбот, когда стражники являются арестовать Идриса.— Теперь я вижу, какой ты сын... Позор на мою седую голову!» А сельскому старосте тут же шепчет: «А ты не мог предупредить, чтоб он успел скрыться! Хороший ты мне друг, нечего сказать».

У Булгакова брат не может пойти на брата и отец не отречется от сына. Ненависть между сыновьями муллы? Ненависть между Алексеем Турбиным и Николкой? Трещину социального конфликта будущий автор «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» не мог провести через то, что еще долго будет казаться ему последним оплотом во всех бурях и потрясениях,— через интеллигентную семью...

Вряд ли еще когда-нибудь Булгаков был свидетелем такого полного и простодушного успеха своей пьесы. «В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, кричали:

— Ва! Подлец! Так ему и надо!

И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «Автора!»

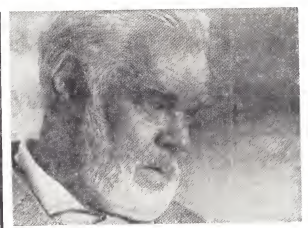
За кулисами пожимали руки.

— Прикрасная пьеса!

И приглашали в аул...»

В конце мая 1921 года Михаил Булгаков навсегда оставил Владикавказ. А пьеса продолжала жить своей собственной жизнью. Ингушская труппа несколько раз показала ее во Владикавказе, потом повезла в Грозный. Зрители бурно аплодировали и от возбуждения даже стреляли в потолок.

В переводе Тотрова пьеса стала осетинской народной драмой. Ее ставили самодеятельные кружки. В одном из таких кружков в 1930 году в Ардоне, приклеив бороду конторским клеем, играл муллу юный Владимир Тхапсаев, будущий знаменитый Отелло и Король Лир.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Очень приятно поздравить Виталия Николаевича Горяева со званием народного художника республики.

Горяев — прекрасный художник.

Горяев — это и нежные и озорные иллюстрации к Катаеву, к Марку Твену, к О'Генри, это и добрые московские акварели и острые американские рисунки.

Горяев — это необыкновенные листы моделей, очень красиво рисованные.

Горяев — это крайне похожие глубоким сходством портреты Кента, Неруды, художников Рефрежье и Вакадина, это портрет его жены, прекрасно передающий очарование модели.

Горяев — это то трагические, то иронические петербургские рисунки к Гоголю и Достоевскому.

Большой, разнообразный и достойный перечень.

Бывают художники галантливые, умелые, современные, умные, полные культуры и обаяния.

Горяев обладает всеми хорошими качествами и, кроме того, еще одним — он очень интересный художник. Все, что он делает, — интересно, — в разной степени удачи, в разной степени успеха, — все равно, все живо, искренне.

И необыкновенно, ведь искусство не должно быть обыкновенным.

Так живет и работает Виталий Горяев, художник и человек, полный жизни, весь пропитанный искусством, этому искусству отдающий все.

И зритель получает от него всегда искусство горячее и искреннее.

Дорогой Витя, все это я написал с любовью и пожеланием тебе всегда быть таким же необыкновенным.

Ю. ПИМЕНОВ,
народный художник СССР,
действительный член Академии художеств СССР

Редакция «Юности» сердечно поздравляет Виталия Николаевича Горяева. От души желаем бессменному члену редколлегии нашего журнала, доброму и давнему другу «Юности» радостей творческих и житейских.

Леонид Сорока

стихи

Прощанье с красным эскадроном

Производились съемки на
Так называемой натуре,
И кадры эти дотемна
Смотрел колхозник, брови хмуря.
«Да, было все примерно так», —
Кивал седой старик согласно,
Следя за дублями атак,
Следя за конницею красной.
Он помнил отблеск тех погонь,
Он подтверждал: вполне похоже.
Вот только комиссарский конь
Упитан был не так, быть может.
И комиссары тех времен
В седле уверенней сидели.
За эскадроном эскадрон
Шли сквозь свинцовые метели.
Хоть были красные бойцы
Небогатырского сложенья,
Но революции служенья
Они являли образцы.
И билась съемочная группа,
Чтоб это зрителю сказать,
Да ненавязчиво, не грубо,
И наше время с тем связать.
И был собравшийся народ
Всезнающим и умудренным,
Когда снимался эпизод
Прощанья с красным эскадроном.
На сельской площади, внизу,
Лихие конники плясали,
И вдруг блеснувшую слезу
Платком старухи утирали.
...Шел производственный процесс
На съемках фильма «Р. В. С.».

В сельхозотделе

Меня в отделе сельского хозяйства
Где я служил в газете областной,
Отучивали просто от зазнайства,
Подчеркивая жирно «я» и «мой».
«Находки», и пикантные детали,
И всякие там страсти и мордасти
Из рукописи тоже выметали,
А оставался план, надой, запчасти.
А оставались беды трактористов,
Которым ламп паяльных не хватало.
Им ночевать случалось в поле чистом,
Промасленным прикрывшись одеялом.
И, словно пыль проселочной дороги,
На мне проблемы эти оседали.
Писал я — и в райкоме заседали
И признавали верными упреки.
Летела дней стремительная стая.
И, не найдя в статье ни разу «я»,
«Ну что ж, пожалуй, ты нашел себя»,—
Сказал редактор, сверху подпись ставя.

На Запорожской ГРЭС

Идет монтаж.
Монтируются блоки
На стометровой, стоветровой высоте.
А сверху — сверху назначают сроки,
И вопиют прорабы, как пророки,
И сыплются взаимные попреки
На недостатки эти и на те.

Поставщики, подрядчик и заказчик,
Не прекращая вечный диспут свой,
Являют красноречия образчик.
Он даже и не снится им, покой,
На сон давно махнули здесь рукой
И выходных не помнят настоящих.

Сверкают, будто шпаги, электроды,
И в месяцы спрессованные годы
На кранах опускаются, дрожа —
Идут на штурм солдаты монтажа.
Таятся не в словах для них красоты,
Они штурмуют новые высоты,
И вертолет, как пчелка за работой,
И восьмигранный блок за полверсты
Мне представляется гигантской сотой.

Поездка на Урал

На перроне с флажками дежурные мокнут.
И тебе, замолчавшей, не сразу уйти,
И пока перестуки на стыках не смолкнут,
Простоишь на обсыпанном шлаком пути.

В сигаретном дыму — в бесплацкартном
вагоне,
К чемодану соседа спиной прислонясь,
Сквозь окошко гляжу. А колхозные кони,
Наклонившись к земле, исчезают из глаз.

От плетней и до рук журавлей деревянный,
Мой поселок скрипит поутру, не спеша,
Колокольцы роняет в дорожном бурьяне,
Гонит стадо под крики босых пастушат.

Равнодушен паромщик, меня не узнавший,
И чужая ватага над речкою Лып.
Нет, совсем я не старый. Ну разве что
старше
Этих лип. Возле школы поднявшихся лип.

✪

Здесь царствует его величество
Рабочий класс. И нефть, как кровь,
Течет по венам металлическим
Из дальних северных краев.

Потом гудроном под колесами
Ей предназначено лежать,
И удобреньем — под колосьями,
Чтоб было что под осень жать.

ЗА ГОД ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ...

В Пензенской области есть небольшой городок Мокшан. Здесь родился писатель Александр Малышкин. Одна из школ города носит его имя. А один из стендов школьного музея посвящен сыну писателя — Георгию Александровичу Малышкину.

«Мы собираем материал о Юре не потому, что он был героем или совершил подвиг,— пишет молодая преподавательница Тамара Гречишникова.— Мы хотим знать, какими были мальчишки 40-х годов, защищавшие Родину».

Лейтенант Георгий Малышкин погиб на Курской дуге в восемнадцать лет. Но в своем дневнике, отрывки из которого мы публикуем в журнале, он дает ответы на эти вопросы.

Когда он начал вести свой дневник, ему еще не было семнадцати... Юрин дневник — документ своеобразный. О поворотных моментах в своей судьбе он пишет скупо: «Эвакуируемся в Самарканд... Тяжело». Описанию же проекта геологической экспедиции в окрестностях Самарканда он уделяет гораздо больше внимания, потому что считает это дело важным, видит в нем большую перспективу.

Все это в духе времени.

— Несколько страничек из дневника, к сожалению, не могут в полной мере передать все богатство внутреннего мира Юры,— говорит заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Елена Хромова.— Мы учились вместе с первого класса, он был для меня не просто одноклассником, но и близким другом. Пожалуй, справедливо будет сказать, что на формирование многих из нас он оказал определяющее влияние.

Чтобы полнее охарактеризовать Юру, показать, каким видели его современники, мы попросили нескольких друзей Юры прокомментировать дневник.

Воспоминания доктора философских наук Эвальда Ильенкова, журналиста Владимира Иллеша, писательницы Натальи Панкратовой существенно дополняют Юрин рассказ «о времени и о себе».

28.VIII.41 г.

«После недельного перерыва немецкие самолеты опять бомбили Москву. Тревога началась в 2 часа ночи и длилась довольно долго. Я, как всегда, дежурил на крыше. Снова пляска прожекторов, звезды зенитных разрывов, гул орудий. В северной части города прожекторы нащупали низко летящий самолет, кажется, «Ю-88». Я обрадовался, подумал: собьют. Но самолет сбросил осветительную ракету и спикировал. Прожекторы заметались, но нашли лишь пустые облака...»

31.VIII.41 г.

«Консерватория. Яков Флиер. В программе — Шопен, Лист. Мы с Эвальдом сидим на концерте. Пианист играет легковесные и сентиментальные вальсы и мазурки. Во втором отделении — Лист. Сначала идет неописуемо чистый, божественный «Сонет Петрарки». Грубым хохотом и пляской носится под сводами зала «Мефисто-вальс». Вот что-то просветлело, успокоилось, но уже снова хохочет и несется Мефистофель. Топот, гром, огонь. Затем идет прекрасная «Метель». Трудно представить себе лучше сделанную музыкальную картину».

4.IX.41 г.

«Эвальд счастлив: он поступил в ИФЛИ[1] и с восхищением «глотает» Платона и Аристотеля. Вовка Иллеш кинулся в школу военных переводчиков, скоро ему дадут форму. А я сижу и жду «особого распоряжения». Да будет ли оно когда-нибудь?»

8.IX.41 г.

«Сейчас 6 ч. утра. Всю ночь дежурил в школе. Было две тревоги, первая с 10 ч. 45 м. до 1 ч., вторая с 2 ч. 15 м. до 4 час. Между тревогами сильная зенитная пальба,— немецким самолетам на этот раз не удалось погулять над городом».

[1] ИФЛИ — Институт философии, литературы, искусства.

9.X.41 г.

«Официальиое сообщение о сдаче Орла. В газетах слова «Победа или гибель». Сейчас все поставлено на карту. Над Москвой нависла страшная угроза. Вчера под Малоярославцем был сброшен парашютный десант. К счастью, ликвидировали. Вязьма оставлена нашими войсками. Ко мне заходят ребята, и с ними и дома все один и тот же разговор: что будет дальше? А между тем возраст у нас самый дурацкий: в армию и на всеобуч не берут и со школами не эвакуируют».

13.X.41 г.

«Эвакуируемся в Самарканд. Черт побери, как не хочется покидать родной город, менять кремлевские башни на азиатские минареты. Тяжело...»

20.X.41 г.

«Радио передало постановление Гос. Комитета Обороны об осадном положении в Москве. Во главе армии, нас защищающей, стоит талантливый генерал Жуков. Кроме того, сейчас с Дальнего Востока прибывают закаленные бойцы. Только вот танков мало. Сегодня в сводке появились Можайское и Малоярославское направления. Значит, немцы в этих местах находятся километрах в ста от Москвы. Москва — фронтовой город. Всюду серые шинели, по улицам в тумане все время носятся военные машины и мотоциклы. Маршируют отряды новобранцев и рабочих-добровольцев.

Эвакуация продолжается, не сегодня-завтра и мы уедем. Не хочется покидать родной дом...»

Наталья ПАНКРАТОВА:

— Нам повезло. Мы выросли в доме, в котором жили многие замечательные советские писатели. Этому дому сорок лет. Он пережил войну, несколько капитальных ремонтов и множество реконструкций, но в моей памяти и в памяти моих сверстников он навсегда останется молодым, новым, только что отстроенным, с веселым палисадником перед фасадом.

Первый этаж занимала организация «Технопромимпорт». Не задумываясь над значением этого слова, мы, ребята двора, знали одно: специальный мусорный ящик для бумаг набит использованными конвертами с заграничными марками. И многим коллекциям было положено начало из этого ящика.

Зимой во дворе мы строили ледяную гору, заливали маленький каток. В полуподвальном красном уголке вовсю кипела работа — занимались кружки, устраивались встречи, вечера самодеятельности. Наш шумовой оркестр (мода тридцатых годов) выступал даже в Союзе писателей. К нам приезжали детские авторы. Впрочем, писателями нас нельзя было удивить, ведь мы жили среди них...

В нашем доме была коридорная система, и часто двери многих квартир по вечерам были открыты настежь — писатели отдыхали, заходили друг к другу, шутили, спорили, обсуждали свои дела. А наша ребячья жизнь буквально била ключом в этих бесконечных коридорах. Родители нас так и называли — «коридорные жители».

Шли годы... Во время войны дом опустел, промерз. Не было света, газа... Потом постепенно, медленно дом начал оживать, оправляться... Не вернулись с войны критик Марк Серебрянский, поэт Джек Алтаузен... Не вернулись с войны и многие мальчишки из нашего дома — Сева Багрицкий, Шурик Арский, Юра Малышкин...

Они погибли совсем юными. Но уже было ясно, что Сева — поэт, что всем своим характером «Шурик Арский — парень пролетарский» — так звали его все ребята, а Юра Малышкин, пожалуй, был самым умным мальчишкой в нашем дворе. Он был усидчив и серьезен, ему вечно не хватало времени. Он прекрасно учился, владел немецким языком, много знал, умел, был самым начитанным среди нас... Увлекался геологией, химией, весь его стол был уставлен банками с таинственными растворами — он выращивал кристаллы...

23.X.41 г.

«Утро. Моросит дождь. Вдруг в окно врывается испанская революционная песня. Идет батальон. В первых рядах автоматчики. За ними обыкновенные красноармейцы. Но под меховыми ушанками загорелые лица южан. Это испанцы... Остатки республиканской армии второй раз идут против фашистов. Счастливого пути!..

После длинной увертюры с зенитками и пулеметами объявили тревогу. Самолет кружился все время над нашим районом и где-то недалеко сбросил фугаску. Все вокруг было голубым от горящих зажигалок. На Тверскую, во двор корпуса «А», дома 4, на нашу крышу было сброшено много пылающих бомб. Какая-то гадина разрядила над нашим районом целую кассету. Потом я узнал, что закидали и «Метрополь» и площадь Свердлова...»

24.X.41 г.

«Сегодня уже точно уезжаем. Утром полез на крышу, так просто, попрощаться. Подо мной, за пятнистой от сгоревших зажигалок крышей, город. Серые улицы разошлись во все стороны. Букашками бегают люди. Дома — серые и черные, белые и красные, маленькие и большие. Самые высокие из них прячут на своих крышах дула зениток и кожухи счетверенных пулеметов. Дует ветер, идут облака, и нет в небе птиц, кроме ворон. Горизонт устлан дымом фабричных труб, только там, где Воробьевы горы, чисто. Там черные шапки потерявших листву рощ. Оттуда начинается Москва-река. Под дугами мостов пробирается она к Кремлю. А он все стоит зубчатый, наперекор всему, исковерканный маскировкой, но не тронутый бомбами. Прощай, Кремль, прощай, родной город!»

1.XII.41 г.

«Вчера утром переехали на нашу самаркандскую квартиру. Она находится в доме № 4 по Заводской улице. Улочка тихая, чистая, безлюдная. Белые глиняные стены домов и оград, качающийся строй кленов и акаций, желтый ковер опавших листьев у арыков — вот и все. Людная часть города далеко, а здесь начинаются окраины. Видны края горной чаши, в которой лежит Самарканд: темно-синие, убеленные сверху снегами Гиссарского хребта. Обо всем этом можно сказать одно: это рай для человека, ищущего покоя, но не для меня».

5.XII.41 г.

«Совершил беглую экскурсию в Старый город. Там интересней, чем в новой части Самарканда. В Старом городе пахнет средневековым Востоком. Старый город начинается за пустырем у южной окраины нового Самарканда. Перейдешь по насыпи быструю речушку и очутишься в низине. Глиняные и кирпичные слепые лачуги без окон лепятся ярусами друг к другу. Между ними извиваются узкие грязные переулочки, тупики, в которых еле-еле проходит арба

Здесь живут самаркандские ремесленники, причем представители какого-нибудь одного ремесла обычно занимают целую улочку. Например, когда переходишь речку, уши наполняются звоном и лязгом металла. Из домов, перед которыми стоят сломанные пролетки, тележки, арбы, вылетают искры, в распахнутых дверях мечется пламя горнов, блестит раскаленное железо. Здесь живут кузнецы.

После скитаний по кривым улицам я добрался до легендарного дворца Тимура. Он облицован керамическими плитами — мозаика 2—3-х цветов. Но сочетанием ультрамариновых, лазурных и белых плиток достигается изумительная строгая красота. Рисунки таинственные, тонкие и замысловатые. Седина веков не уничтожила красоту... Я чувствую это по впечатлению, который город произвел на меня, и я уверен, что бродил по нему не в последний раз. Наоборот, я посвящу еще много дней хождению по Старому городу, по дворцу, мечетям, доберусь до гробницы Тимура; такие возможности редко представляются в жизни. Надо их использовать.

Эх, зарисовать бы все это!»

Эвальд ИЛЬЕНКОВ:

— Сначала были мультфильмы, потом музыка. Фильмы Диснея произвели на нас ошеломляющее впечатление, и мы решили создавать подобные же ленты сами. Но как? Мы разрезали обычные листы писчей бумаги на полосы нужной ширины, склеивали их и рисовали тысячи рисунков, то есть шли по обычному пути мультипликаторов.

Рисунки иногда раскрашивали, иногда оставляли только контуры. Ленты промасливали — и кинопленка готова.

Из различных деталей собрали кинопроектор и начали демонстрацию фильмов. Это событие обычно происходило на одной из площадок крайнего подъезда нашего дома. Подъезд этот был глухим и, видимо, лишним. Здесь никто не ходил, и вся лестница была в распоряжении ребят.

Фильмы собирали порядочные аудитории. Веселые сказки и комедии на темы, близкие зрителям, вызывали громовой хохот. А слово «конец» на экране вызывало возгласы: «Еще!» — и сопровождалось долго не смолкающими аплодисментами. Это была лучшая награда. Но не ради этих аплодисментов мы работали: нас увлекал сам процесс самостоятельного созидания, творчества.

Мы с Юрой мечтали стать художниками...

12.XII.41 г.

«Мама устроила меня в школу. Вчера я пошел «начинать» новый учебный год. Школа носит имя А. С. Пушкина. Она находится в самом центре, на углу ул. Ленинской и К. Маркса, довольно далеко от нашего дома. Время для занятий неудобное — с 6 ч. до 11 ч. вечера. Надо сказать, что я пришел в школу в день, когда в Самарканде ввели светомаскировку. Половину классов не успели затемнить, и в школе был хаос. Классы кочевали из одной комнаты в другую. Большую часть уроков мы сидели в темноте. Конечно, никаких занятий не было. Стоял гвалт. Следующий урок начался при свете, это была алгебра. То, что говорил учитель, для меня было пустым звуком: «...логарифмы... основания...». Я отстал на полгода, а выкарабкиваться надо в один месяц, иначе выгонят...»

Владимир ИЛЛЕШ:

— Он был талантлив. За что бы ни брался, у него все получалось. Кем он мог стать? Ученым? Писателем? Может быть, художником? Гадать трудно. Одно знаю: дружба с ним была праздником нашего детства.

Он постоянно стремился как можно больше узнать, овладеть каким-то новым делом. И все это не для показухи, а для будущего.

Он неплохо играл на пианино, но это я обнаружил случайно. Дома у него инструмента не было.

Однажды я пришел домой и, пока раздевался в коридоре, слышал в комнате немецкую речь. Оказывается, Пончик (так мы звали Юру в детстве), дожидаясь меня, беседовал с моей мамой по-немецки.

У нас в доме был принят немецкий язык наряду с русским и венгерским. Но Пончик... Когда и где он научился так хорошо говорить, мне это неведомо. А ведь я знал точно, что на частного учителя у его мамы денег не было...

17.XII.41 г.

«Вот жизнь, кажется, и вошла в свою пыльную колею. Только две заботы на весь день: хлеб и школа. Первая начинается с утра. Хозяйский сын Юрка становится еще до рассвета в очередь. Я обычно в это время вожусь с мангалом, готовлю завтрак. Потом сменяю его. А очереди за хлебом огромные. Вот так и стоишь, топчешься иногда по 10—12 часов. Мимо тебя шумит день. В чужом небе расплескивается горячее самаркандское солнце, пронзая склоны гор и волосатые шапки деревьев. По грязной булыжной мостовой топают на занятия слушатели военных академий (здесь теперь их четыре), курсанты училищ. И, как всегда, лениво катятся арбы, плывут караваны... А очередь движется медленно, гудит...

Единственное, что сейчас утешает,— это наше наступление на фронте. Читаешь сводки и убеждаешься, что Самарканд — это временно».

22.XII.41 г.

«Последние дни я стал серьезно задумываться над продолжением геологической практики в окрестностях Самарканда. Просмотрел материал в сборнике «Геология Узбекской ССР», узнал, что в окружающих горных хребтах много любопытного. Здесь интересная стратиграфия, богатая тектоника, много всего для гидрогеологии и геоморфологии, в общем, рай для геолога. Планомерное изучение какого-либо участка едва ли удастся, так как ближайшие горы начинаются в 30—40 км от Самарканда, и, естественно, ходить каждый день туда невозможно. Другое дело — предпринять ряд экскурсий с ознакомительной целью. Их можно осуществить в виде походов. В каникулы (летние, весенние, а может быть, и в зимние) надо будет сходить в Ургут — ближайшее место в горах — или по долине Зеравшана дойти до Пенджикента; можно организовать более серьезный поход по маршруту Самарканд — Пенджикент — Кштут — Гиссарский хребет — Сталинабад, это уже километров под триста. Короче, надо познакомиться со строением Зеравшанского, Гиссарского, Туркестанского хребтов, посмотреть ущелья, ледники, перевалы, может быть, взобраться на их вершины (2000—4000 м). Летом надо попытаться попасть в геологическую партию».

Владимир ИЛЛЕШ:

— С Пончиком нас связывала не только жизнь в одном доме, но и занятия геологией.

Мы изучили массу книг по геологии, организовывали сами экспедиции в летнее время, собирали коллекции ископаемых окаменелостей, минералов, старательно корпели над геологическими описаниями. Мне самому сейчас трудно поверить, что в 12—13 лет можно так серьезно увлечься каким-нибудь делом.

У меня сохранилось несколько рукописей наших совместных и написанных каждым в отдельности за-

меток. Почти все они где-то были опубликованы: или в журнале «Пионер», или в специальных геологических изданиях.

Так, в октябре 1939 года мы с Пончиком на основе полевых работ, проделанных в июле—августе, написали очерк «Описание геологического строения района хребта Кучук-Янышар и прилегающего к нему берега Коктебельской бухты и мыса Топрах-Кая». Этот очерк был опубликован в коллективном труде ученых Московского геологоразведочного института.

26.II.42 г.

«Сегодня мне семнадцать лет. Последний день рождения до армии. Семнадцать. Это, пожалуй, треть жизни при оптимистическом взгляде вперед. И только год остался до совершеннолетия!»

30.III.42 г.

«Прошла мобилизация в военные школы командиров. Большинство ребят 1924 года взяли в школу связистов. А через несколько дней призвали 1925 год. Местных ребят взяли в команды автоматчиков, пулеметчиков, снайперов и истребителей танков. А меня записали в «пятую команду» — авиадесантников. Занятия без отрыва от школы. Наша группа пока не будет заниматься, так как заняты аэродромы; когда они освободятся, нам пришлют повестки».

3.IV.42 г.

«Ура! Ура! Ура!.. Пришло письмо от Эвальда из Ашхабада. Он там вместе с институтом. Он выехал 1 ноября, то есть всего лишь на 6 дней позже меня. Пережил, как и я, голод и холод. Сейчас подтягивает живот и учится. Летом думает попасть в Москву. Но главное, он прислал Вовкин адрес: «Действующая армия, полевая почта 1536, штаб, разведотдел, техник-интендант В. Иллеш». Бродяга уже на фронте! Теперь надо написать им письма. Эх, как хорошо сегодня на душе. Вот радость!.. Ура-а! Все мои товарищи «в сборе».

Эвальд ИЛЬЕНКОВ:

— Когда у нас были хоть какие-то деньги, мы их тратили на билеты в консерваторию или в Большой театр. Разумеется, мы не собирались стать профессиональными музыкантами или музыкальными критиками. В музыке мы открывали огромный мир чувств, человеческих дерзаний, страданий, восхождения к истине и добру. Музыка будила в нас стремление проявить как-то себя, выявить свои возможности. Меня увлекал мир человеческой мысли, сознания; Пончик видел свою задачу в том, чтобы принести непосредственную практическую пользу людям; познание природы во имя благосостояния человека — так примерно можно назвать его позицию. Помню, как у нас разгорелся ожесточенный спор, в котором я отстаивал значение философии и, в частности, указывал на роль древнегреческого философа-материалиста Гераклита в истории человечества, а Пончик и Володя Иллеш в пылу полемики утверждали, что вся философия — ничто по сравнению с аммонитами, вымершими морскими животными, чьи окаменевшие остатки геологи обнаружили в отложениях юрского периода.

В нашем доме жили многие известные, знаменитые люди — писатели, военачальники. Отец Пончика, Александр Малышкин, уже при жизни (он умер в 1938 году) получил признание как классик советской литературы. Однако ни капли хвастовства не было в Юре.

Впрочем, это было характерно и для большинства ребят в доме и для их родителей. Помню, еще малышами мы бродили по всему дому гурьбой по шесть-семь человек, могли зайти в любую квартиру (двери квартир у нас не запирались). Забредали к Юрию Олеше, Эдуарду Багрицкому, Николаю Асееву... Нам и в голову не приходило, что эти люди чем-то отличаются от тех, которых мы видим на улице. А они нас всегда радушно встречали, угощали чаем, конфетами...

Дружбой с Пончиком дорожили все, ценили ее высоко, видели в нем замечательные человеческие и творческие качества, и как-то само собой разумелось, что у Пончика — славное будущее...

20.VI.42 г.

«Перешел из парашютистов во взвод автоматчиков. Мы перешли туда вместе с Миловзоровым, одним москвичом из нашего класса. В нашем взводе человек 30—40. Преподают недавно окончившие эту же школу ребята, наши однолетки, а иногда одноклассники. Все они уже сдали на старших сержантов, учат нас и получают жалованье. Такой же чин получим и мы через полтора-два месяца. Изучили все автоматическое оружие, тактику автоматчиков, общие дисциплины, а также приемы бокса и дзюдо. В выходные — учеба в поле. Летом будут походы.

Сегодня я и Миловзоров несем караульную службу. С 8 утра до 8 часов завтрашнего утра с четырехчасовыми перерывами для еды мы стоим на посту в школе. У нас винтовки с холостыми патронами, а у начальника караула — наган с боевыми. Я доволен, что попал в автоматчики, может быть, на фронт скорее попаду».

5.V.42 г.

«В Артил. Академии слушали сегодня вторую лекцию: «Оружие, состоящее на вооружении германской армии». Академия прекрасно обеспечена трофейными образцами. Воентехники подробно объясняют строение пистолетов, винтовок, пулеметов нашего противника. Советские ППД, ППШ, СВТ и пр. и пр. выглядят сделанными грубее немецких. И все-таки мы гоним с нашей земли фрицев с этой техникой. Видно, иметь хорошие пистолеты — это еще не все...»

29.VI.42 г.

«Ходил в военкомат с бумажкой из школы переводчиков. Выгнали. Сказали, что год еще не призывной».

4.VIII.42 г.

«Я выбрал выход. Пошел добровольцем во 2-е Харьковское танковое училище, находящееся в Самарканде. Сейчас там начался набор на курсы командиров танков и танковых взводов. По здоровью и возрасту прошел, в протоколе написали «годен» и «принять». Осталось пройти мандатную комиссию. Через пару дней, а может быть, и раньше расстанусь со своей «штатской жизнью». Жалко маму, она останется одна... Но что поделаешь, время зовет, так нужно. Я знаю, какую опасную военную профессию выбрал, и знаю, что может случиться... Но Т А К Н У Ж Н О!»

(Публикацию подготовил
Ст. НИКОНЕНКО)

детей, наверное, в некоторых сценах страшная. Но более всего все-таки — светлая, озорная. Жизнерадостному ее характеру, безусловно, помогает музыка В. Шаинского, песни на стихи М. Ножкина. Если и есть в фильме просчеты, то они, я думаю, в некоторой вялости лирических мотивов сказки, в безжизненности хорошенькой Аленушки. Но я ведь пишу не рецензию на фильм...

«Финист — Ясный Сокол» идет на экранах, его может оценить зритель.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается — даже если это дело в том и состоит, чтобы «делать» сказку. Все мы знаем, что создание фильма — процесс длительный, сложный, «поэтапный». Даже когда фильм отснят, но еще не смонтирован, нельзя сказать определенно, удался он или нет; недаром же кинематографисты говорят, что фильм рождается на монтажном столе. Знаем мы, что фильм создать трудно, но только когда бываешь на съемках, на озвучении, на монтаже, начинаешь это понимать не умозрительно, а физически.

В сказке, конечно, есть своя специфика. Вот, положим, требуются дрессированные животные и простые (так и написано): собака королевы — болонка, собака рыболова — дворняга, змея Цеблиона (придворного парикмахера) — удав, змеи разные — 10, лев, лань, лошади-тяжеловозы — 10, птицы певчие — 9, и еще много там в списке всяких птиц и зверушек. Но ведь все это — целый сказочный «лик»—сначала придумать надо, а потом «добыть», привезти, а потом, самое главное, отснять, и не просто отснять, а так, чтобы каждый кадр служил идее фильма.

Оформление сказки всегда требует фантазии. Но эта сказка к тому же рассказывает о выдуманном городе и королевстве, расположенных вне конкретного времени и пространства. Нужно было найти образ этого «пространства». За основу решили взять облик европейского средневекового города. Художник картины А. Анфилов и художник по костюмам Б. Курашова тщательно просмотрели в Государственной библиотеке имени Ленина западноевропейские рукописи средневековья, рукописные книги.

В Калининграде в городском архиве Анатолий Анфилов обнаружил рисунок необычной старинной башни, построенной в XIII веке. Она подсказала изобразительное решение королевского замка, тронного зала. Так постепенно, пока на бумаге, возникал образ города Веселых Тружеников — светлого, с черепичными крышами — и мрачного королевского замка.

Когда Геннадий Васильев сказал, что к режиссерам-сказочникам относятся порой без должной серьезности, я вспомнила, что об этом же больше десяти лет назад мне говорил кинорежиссер, народный артист РСФСР Леонид Луков, который был в ту пору руководителем детской секции Союза кинематографистов СССР. Л. Луков был озабочен многими проблемами кино для детей и юношества и, в частности, тем, что необходима специальная детская студия. Студия, где впервые для детей создадут широкоэкранные и широкоформатные цветные фильмы, фильмы с использованием комбинированных съемок, студия, где могут быть привлечены все технические возможности современного кино. «Такая студия может быть организована,— сказал тогда известный кинематографист,— в одном из павильонов Мосфильма». И вот теперь есть в стране специальная детская студия: Центральная киностудия имени Горького преобразована в Центральную киностудию д е т с к и х и ю н о ш е с к и х фильмов имени Горького. Есть у студии и филиал — Ялтинская киностудия.

Студия в Ялте необычна тем, что нет здесь сценарного отдела, нет режиссеров, художников, операторов, только технические работники.

Эта студия обслуживает и многочисленные киноэкспедиции — не только советские, но и зарубежные. Крым ведь популярен у кинематографистов: природные условия его удивительно многообразны и живописны, кроме того, привлекательны и краски Крыма и особые световые условия.

Я спросила директора Ялтинской студии В. Алешина:

— Изменился ли характер работы с тех пор, как студия имени Горького стала студией детских и юношеских фильмов?

— Нет. Если не считать того, что на студии стало много ребят, а ребенок в доме — это всегда хлопоты. Детей ведь снимают не только летом, нужно организовать правильно их школьные занятия, устроить их быт.

Сейчас в Ялте строится новая студия — уникальная и по своим размерам и по инженерной мысли: строят ее высоко над морем, на горе. Трудную горную породу одолевают мощнейшие землеройные машины. На месте, где сейчас появились первые ровные площадки и опорные стены с еще торчащей из бетона арматурой, расположатся павильоны студии, огромные складские помещения (для реквизита, осветительной аппаратуры), гостиница для съемочных групп на 300 человек, бассейн для съемок. На новой студии можно будет в полной мере осуществить то, о чем мечтали кинематографисты: снимать фильмы для детей с использованием самой совершенной техники.

С горы видно море. (Во многие фильмы через некоторое время войдут кадры, снятые с этой площадки.) Море далеко внизу. А на пути к нему, на горе, что пониже,— старые могучие кипарисы. Меж ними несколько могил: композитора В. Калинникова, умершего в 35 лет, замечательного русского пейзажиста Ф. Васильева, умершего в 23 года. Не спас их когда-то от чахотки и целебный крымский воздух. На надгробии писателю С. Найденову слова из его посмертно опубликованной пьесы:

Неугасимая заря,
Неугасимый свет повсюду.
Я жив. Я буду жить. Я буду.

— Я жив. Я буду жить. Я буду,— прочитал вслух Геннадий Васильев.— Как просто можно сказать о смысле бытия. Страшна не смерть сама по себе, но сознание, что ты расстаешься с жизнью, ничего не сделав, не оставив.

Да, страшна бессмысленность существования, страшно расстаться с жизнью нищим. Это не голос тщеславия. Дело не в масштабах таланта. Но что-то должен оставить после себя человек: доброе в своих детях, внуках, близких, возделанный клочок земли, исцеленного человека, строки или кинокадры, трогающие ум и сердце...

Борис
СЛУЦКИЙ

ГОВОРЯЩИЕ ЛИЦА

В соборе Святого Петра в Риме вдоль стен стоят закуты исповедален. Их множество, и в каждой происходит беспрерывная работа над грешниками. Сквозь перегородки ничего не слышно. Однако само сознание, что рядом люди шепчут и плачут о своих грехах, громадно и незабываемо.

В Третьяковской галерее, в шестнадцати залах первого этажа на протяжении многих недель происходило семьсот, если не ошибаюсь, исповедей одновременно. Причем не только тихих, но и громогласных. И шепотом, как у Щипицына, и криком, как у Лентулова. И с добродушной улыбкой, как у Тропинина, и с яростной гримасой, как у Павла Кузнецова.

Семьсот мастеров, создавших два с половиной века нашей живописи и графики, всю ее новую историю, предавались самообличению и самохвальству, самокритике и саморекламе, самокопанию и самовозвеличению, самооговору и самовоспеванию, но прежде всего — самоизучению, самопознанию. И все эти недели перед Третьяковкой стояла тысячная толпа. Люди, которые теперь так много и так глубоко думают о себе, о своих делах и помыслах, шли смотреть автопортреты — рассказы о делах и помыслах своих художников.

В 1729 году — задолго до того, как были произнесены слова о диалектике души, Матвеев написал автопортрет с женой, где вся эта диалектика — и тревога, и счастье, и печальные мысли о будущем, и уверенность в себе большого мастера, и любовь — уже налицо. Этот уровень самопознания наша литература освоила только через столетие. Живопись в те поры опережала все иные искусства.

А в 1974 году Булгакова, кажется, самая молодая из участников выставки, написала свой автопортрет — рыжеватую женщину с пробором и тонкими чертами лица, с кистью в руке. На ее юном лице прочитываются та же тревога, то же счастье, та же любовь.

На выставке представлены несколько мощных национальных школ, но более всего работ русских мастеров.

Зрителя сразу же потрясает мысль — сколь национален этот жанр, сколь свойственно народу Толстого и Достоевского сосредоточенное всматривание в свою душу и честный рассказ о ней!

В толпе исповедующихся встретишь, конечно, людей, не поднявшихся выше парадного, официального, внешнего. Но их меньше. Преобладают искренние, до беспощадности к себе, художники.

Я не поклонник композиций Лактионова, но его автопортрет 1945 года серьезен и вдумчив. Я тем более не поклонник композиций А. М. Герасимова, но его автопортрет с семьей много, полно и откровенно рассказывает о нем. Сравните этот семейный портрет с таким же портретом Кончаловского. Какая разная жизнь была у художников, какая разная атмосфера преобладала в их семьях!

Когда смотришь серию рисунков Врубеля, помеченных грозным для него 1905 годом (его болезнь в этом году приняла необратимый характер: «Все бы было благополучно, но меня с утра до вечера и все ночи замучали голоса»,— писал он жене),— когда смотришь эти удивительные рисунки, потрясает напряжение борьбы, борьбы с жизнью, борьбы с болезнью, борьбы за жизнь. Сначала — человеческое напряжение, потом — сверхчеловеческое. И все-таки — какая победа ясности, разума, воли! Недаром лечивший Врубеля Усольцев писал: «Часто приходится слышать, что творчество Врубеля — больное творчество. Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить».

Другой великий художник и великий мученик — Тарас Григорьевич Шевченко, представленный на выставке несколькими вещами, писал в своем дневнике 19 июня 1857 года: «И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито, злобно посмеяться надо мной... Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать».

Вглядываясь в мощный высокий лоб Шевченко, в его доброе крестьянское лицо, не следует забывать про эту дневниковую запись.

Многие художники ставили себе задачи меньшие, чем громовая исповедь. На выставке несколько мастеров изобразили себя с заячьими ушками повязки над головой. Это — автопортреты с флюсом. В них мало пафоса, больше юмора.

Я долго стоял у такого автопортрета с флюсом, писанного в 1922 году Адливанкиным и названного им «Уполномоченный самарского ВХУТЕМАСа». То было время недолгой славы художника. Состоялась выставка НОЖ — Нового Общества Живописцев, ставившего себе задачи реалистические. Художника отметил Луначарский, а Маяковский вступил с ним в деловой союз по совместному сочинению карамельных оберток. Адливанкин их рисовал. Маяковский делал стихотворные подписи.

Передо мною автопортрет человека молодого и, не-

А. Матвеев.
Автопортрет с женой.
1729 г.

По залам выставки
«Автопортрет
в русском и советском
искусстве».

(Государственная
Третьяковская галерея. 1976—1977.)

О. Кипренский.
Автопортрет. 1800 годы.

З. Серебрякова. За туалетом. Автопортрет. 1909 г.

смотря на зубную боль, веселого и счастливого. Ныне Адливанкин забыт. Может быть, выставка напомнит о нем?

Зрители задерживаются у автопортретов Дейнеки и Жилинского. Оба художника изобразили себя полуголыми, и надо сказать, что изображение тела сильного и спортивного, отвлекает от изображения лица, пусть даже значительного.

Однако таких автопортретов — с сюжетом, или с вывертом, или попросту с аксессуарами — меньшинство. Решительно преобладают вещи, где между творцом и натурой, между художником и художником, нет ничего, кроме мысли, чувства и мастерства.

Вспоминаешь забавный автопортрет Айвазовского в его Феодосийском музее — в тщательно выписанной контр-адмиральской форме, которой старик очень гордился, с орденами, погонами и так далее. Этого автопортрета на выставке нет. А жаль! Как бы оттенил он автопортрет другого старика — Ге, в котором все — мысль и страсть, только мысль и только страсть. Настолько, что даже не вспомнишь, во что же он, Ге, одет.

Нелюбовь к аксессуарам и пристрастие к сути — тоже национальная черта.

Бродя из зала в зал, изумляешься, как сильно у наших художников семейное, родовое. Портреты Древина и Удальцовой — оба 1923 года — висят рядом не случайно. Два мощных художника, муж и жена, прожили жизнь настолько рядом, настолько тесно, что, как это иногда бывает у любящих супругов, даже лица их стали похожими. Эти лица — их умственная сила, их душевная чистота, их несокрушимая воля — принадлежат супружеской паре, без которой непредставима история советского искусства. Недавно сын Удальцовой и Древина Андрей поставил в Москве хороший памятник баснописцу Крылову — одна из мощных художнических династий продолжается.

Члены другой династии — итальяно-русской — Соколовых и Бруни, о которой кто-то сказал, что у них в жилах течет не кровь, а акварель, представлены портретами, разбросанными в разных залах. Да и то сказать, династии этой уже полтораста лет, начиная с Федора Бруни, автора «Медного змия».

Дом Фаворских с его многочисленными графическими и живописными ответвлениями и дом Бенуа — Лансере — Серебряковой также представлены многими автопортретами.

Прекрасно, что точно так же, как передаются от отца к сыну секреты профессий сталевара, или пахаря, или офицера, кисть живописца не падает из ослабевшей руки. На таких семьях стоит наша художественная культура.

Однако эта тесная сомкнутая среда расступилась перед крупным талантом, будь это сын суворовского солдата Федотов, или сын крепостного Кипренский, или сын огородника Павел Кузнецов, или дочь учителя Татьяна Маврина. Кажется, ни в одном из других искусств России кастовость, сословность не преодолевались так часто, как в изобразительном искусстве.

Выставка изобилует прославленными, давно вошедшими в хрестоматию нашего глаза и во все иные хрестоматии автопортретами. Вкратце не скажешь о вещах Брюллова, Репина, Сурикова, Серова, Коровина, если брать более поздние времена,— об автопортрете Шагала, о его «Летающих любовниках». Все эти вещи, смотренные и пересмотренные, подобно стихам из «Горя от ума», давно превратились в пословицы.

Открытием для многих зрителей стали залы, где выставлены большие мастера искусства предреволюционной и революционной поры, когда «все рождением приобретшие богатства прижали, как зайцы уши, мешки свои со страха разлития идей коммунизма». Эта фраза из черновика письма Федотова к Тарновской, написанного около 1849 года, как нельзя лучше характеризует время значительно более позднее, время, когда выступили Машков и Фальк, Кончаловский и Лентулов. Великие революции, подобно вулканическим извержениям, выбрасывают на поверхность земли крупных людей и большие таланты. Так произошло и во время Октября, когда отбор людей в искусстве шел строго по силе, по художественной одаренности, по способности понять и претворить новую жизнь. Этот отбор по силе, происшедший в двух искусствах — поэзии и живописи,— я попробовал изложить стихами:

Николай Николаевич Асеев
вспоминал в упоении:
«Обратите внимание
на прекрасное удвоение,
что присуще всей нашей компании.
Маяковский
Владимир Владимирович,
Каменский
Василий Васильевич,
Бурлюк
Давид Давидович,
я, Асеев,
Николай Николаевич,
Крученых
Алексей Алексеич —
он был Елисеичем,
но для комплекта
мы звали его Алексеичем».
Я припомнил об этом открытии
на открытии
выставки автопортрета,
в залах
столь же горячих поклонников нового,
в полыхавших пожарами залах «Бубнового Валета».
Вот они:
Машков,
с плечами и грудью атлета,
Кончаловский,
гигант, со своею женою великаншей
и огромными чадами.
Фальк — спортивный борец
и Лентулов — борец цирковой.
Вот они — со своими кубами, квадратами.
Каждый — мощный, веселый,
величественный, живой.
Ту двойную работу,
что России потребовалось тогда,
выполняли
борцы и герои,
солдаты и воины.
Да, борцы со старьем
и герои труда,
чьи стремленья,
свершенья,
имена,
даже мускулы
были удвоены.

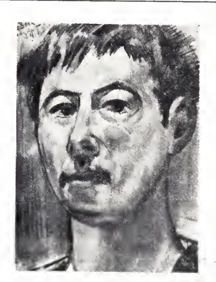
Галерея деятелей революционной живописи отнюдь не сводится к автопортретам мастеров «Бубнового Валета». Эти мастера попросту милее моему личному сердцу. Но так же точно, как рядом с Маяковским работали Есенин, Демьян Бедный, Пастернак — полноправные соратники и достойные соперники, точно так же в одном зале с Кончаловским и

Фальком висят замечательные автопортреты Петрова-Водкина, как ничто другое в искусстве тех лет воплотившие образ человека, из социальных низов шагнувшего к высотам всемирной культуры. А ведь отношение к традиции, к классике у Петрова-Водкина было совсем иным, чем, скажем, у Лентулова, или, скажем, у Малевича и Филонова, или у Кустодиева, или у С. В. Герасимова, Альтмана и Лабаса. Однако лица у всех этих людей были прекрасные, а таланты — мощные. Прекрасные же лица в изображении людей мощного таланта дают удивительные портреты и автопортреты.

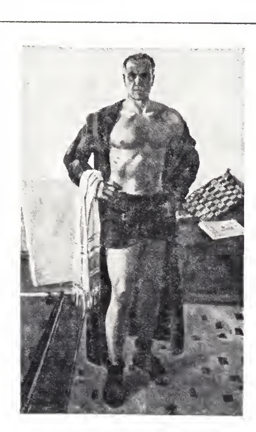
Как изобильно наше искусство! Как полноводны реки, в него вливающиеся! Как мало в мировом искусстве можно поставить рядом с нашей школой автопортрета!

В свое время передвижные выставки имели всероссийский успех не столько потому, что они были передвижными, сколько потому, что передвигалось на них большое и новое искусство. Хорошо было бы, если выставка автопортрета в полном или избранном варианте пошла бы путешествовать по стране.

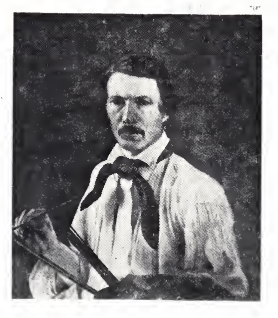
Выставка составилась из вкладов Третьяковской галереи, Русского музея, нескольких областных музеев и многих коллекционеров. Подавляющее большинство выставленного содержится в запасниках и малодоступно зрителю. Это еще один довод за то, чтобы был издан большой альбом в красках. Прекрасное единство, именуемое «Выставкой автопортрета», не должно распасться окончательно. От него должен остаться след не только в памяти, но и в художественном книгоиздании.



А. ВОЛКОВ.
Автопортрет. 1927 г.



А. ДЕЙНЕКА
Автопортрет. 1948 г.



А. ТЫРАНОВ
Автопортрет. 1840-е гг.

Георгий
ОЛЬДЕРОГГЕ

ПЕРВЫЙ КРАСНЫЙ АДМИРАЛ

Командир крейсера «Двина» капитан первого ранга Модест Васильевич Иванов.

Фото 1915 года.

В детстве большинство из нас кому-то подражает. Хорошо, если находится старший друг, который в состоянии стать учителем жизни или хотя бы образцом поведения.

Мое пионерское детство и комсомольская юность протекли в Гатчине, под Ленинградом, и объектом моей этакой мальчишеской влюбленности был старый моряк Модест Васильевич Иванов, возвращавшийся в Гатчину из далеких океанских рейсов. Капитан дальнего плавания — в этих словах для меня была бездна романтики. Он приезжал в Гатчину, огромный ростом, веселый и громогласный, с обветренным лицом, с седеющей бородкой, делающей его похожим на скандинавских мореходов. Вскоре он появлялся у нас дома — мои родители дружили с ним и его женой, Софьей Александровной, или мои родители, отправляясь в гости к Ивановым, иногда брали и меня.

В этих случаях я попадал в волшебный мир морских рассказов и благодаря своему детскому воображению почти становился участником удивительнейших событий, приподнятых в изложении блестящего рассказчика над обыденной повседневностью.

Приходится только сожалеть, что тогда не было магнитофонов или что я не вел тогда записей на свежую память; конечно, многое я забыл. А Модест Васильевич погиб в Ленинграде в трудную первую блокадную зиму, и поселившийся в его квартире человек поддерживал свое существование тем, что жег в печурке его архивы, дневники, документы, лоции, книги. Кто осудит сумевшего благодаря этому выжить...

Прошло более 20 лет, я стал зрелым человеком, когда начинаешь ценить память о детских и юношеских годах, о людях и событиях прошлого. Тогда-то и вспомнил я рассказы старого моряка, ленинский автограф, висевший в рамке на стене его гатчинской квартиры, и слова Модеста Васильевича: «А ведь я внук декабриста Павла Ивановича Пестеля...»

Я подумал: хорошо бы найти ленинский автограф — вдруг он неизвестен. Из рассказов старого капитана я узнал, что его, крупного специалиста старого флота, в первые дни Великого Октября пригласил к себе В. И. Ленин и поручил руководство военно-морским флотом молодой Советской республики.

Знал я и о многих других событиях жизни М. В. Иванова — о работе с Ф. Э. Дзержинским, о дружбе с П. Е. Дыбенко, А. М. Коллонтай, Н. Ф. Измайловым и другими видными большевиками, но многое я помнил лишь приблизительно, неточно. Чтобы пройти по следам его жизни, надо было начинать поиски людей, знавших его, его родных, с которыми связь у меня за многие годы была утрачена, надо было предпринять историко-архивные поиски.

Долго искал я ленинский документ. Это оказался текст первой ленинской радиограммы, переданной петроградской радиостанцией «Новая Голландия» 29 октября 1917 года. Текст написан рукой Ильича и

и много сделавшем для своей Родины. Долгое время никак не подтверждалась фраза М. В. Иванова о его родстве с П. И. Пестелем, но вот в 1976 году мне удалось разыскать в Центральном государственном историческом архиве Эстонской ССР студенческое личное дело отца М. В. Иванова — Василия Иванова. Василий Иванов в 1826 году (год казни декабристов) был определен в Гатчинский воспитательный дом, имена родителей его «не записаны».

Вот какой представляется мне судьба Василия Иванова из материалов его личного дела, из других документов, рассказов его сына Модеста Васильевича, сведений, переданных им своим потомкам (в Ленинграде живет внучка Модеста Васильевича — океанолог Наталья Георгиевна Гуляева).

Летом 1826 года в Гатчинский воспитательный дом поступили два подростка, записанных под именами Василий Иванов и Петр Алексеев. В документах значилось: родители неизвестны, год рождения неизвестен, место рождения неизвестно. Было им лет по одиннадцать-двенадцать. Судьба их была похожей. Их обоих по царскому указу забрали у матерей, сведения об их рождении «затерялись».

Василий Иванов всю жизнь помнил красивую женщину, которую он звал мамой и на глазах которой часто видел слезы. Он был не такой мальчик, как все: он был «незаконнорожденный». Он ничего не знал о том, что помешало его родителям быть вместе, но хорошо помнил офицера, который приезжал к его матери и ласкал его. Мать говорила, что это Павел Иванович Пестель...

сопровожден его приписками. Наконец мне удалось найти фотокопию этой радиограммы у близкого друга М. В. Иванова — революционного моряка Ивана Васильевича Павлинова. Вот этот текст:

«Модесту Иванову Капитану 1-го ранга
Гельсингфорс
Просим немедленно приехать Петроград Смольный
Председатель Совета Народных Комиссаров
Ульянов (Ленин)».

Выше текста написано той же рукой:
«Е. Ф. Розмирович. Пошлите это через завед. радиостанцией Центрофлота» и тут же: «Послано ли?»

Уже найдя копию бланка ленинской радиограммы, я узнал, что искать этот документ было незачем, ибо оригинал его передан М. В. Ивановым перед войной в Институт марксизма-ленинизма и хранится в фондах Ленинского архива. Но усилия мои по поиску документа даром не пропали: удалось найти многих людей, обладавших ценной информацией, ознакомиться с сокровищами их личных архивов, покопаться в фондах архивов государственных. Шли годы, и у меня в дополнение к памяти сердца скапливалась информация о человеке замечательном

Среди писем отца декабриста Ивана Борисовича Пестеля (он был московским почт-директором), уничтожить которые перед арестом не поднялась рука Павла Пестеля, есть одно — от 22 октября 1815 года. Из этого письма мы узнаем, что до Ивана Борисовича дошли слухи о намерении Павла жениться, и отец отказывал сыну в своем благословении, видимо, считая предполагаемый брак сына мезальянсом.

Помнил Василий рассказы матери о хлопотах отца, чтобы дать сыну право наследования дворянства и фамилии Пестель, и о том, что будто было даже согласие на это Александра I, когда П. И. Пестель понадобился для дипломатической миссии в Молдавии и Валахии во время греческого восстания. Но в 1826 году, после казни декабристов, Василия отобрали у матери пришедшие за ним жандармы. Запомнилось ему и то, что новый царь, Николай I, повелел уничтожить все документы о его происхождении.

Вместе с Василием Ивановым в воспитательном доме в 1826 году появился и другой мальчик по имени Петр Алексеев. Сходство судеб сделало обоих детей неразлучными.

Весной 1834 года мальчики окончили с отличием училище воспитательного дома, дававшее право поступления в университет, и были зачислены в Императорский Дерптский университет на казенный счет: правительство было заинтересовано в воспитании верноподданных из таких молодых людей.

Василий Иванов поступил на философский факультет, а Петр Алексеев — на медицинский. В списке выпускников 1839 года мы видим их рядом: «Петр Алексеев (№ матрикула 3250), воспитанник Воспитательного дома (в графе «год рождения» — прочерк), специальность — медицина («сведения о родителях» — прочерк), и Василий Иванов (№ матрикула 3251), воспитанник Воспитательного дома (в графе «год рождения» — прочерк), специальность — филология («сведения о родителях» — прочерк). Рядом с ними в списке Александр Вернер, Константин Циммерман, Яков-Рейнгольд-Роберт Тедер, барон Григорий фон Унгерн-Штернберг, Генрих Шредер, Давид Леви, Василий Торопов. У этих студентов есть и точные даты рождения, и имена родителей, и место рождения...

Трудно было «продираться» через готическую скоропись документов XIX века (преподавание и делопроизводство в Дерпте шло на немецком языке), и не все еще мне удалось разобрать, но личное дело В. И. Иванова и «Альбом Императорского Дерптского университета» (1889 г.) помогли проследить жизненный путь Василия Иванова.

В 1837 году трагически погиб А. С. Пушкин. Филолог Василий Иванов выбирает для себя в 1839 году тему выпускной работы «О духе сочинений Пушкина». Вот она передо мной, эта работа:

«Он умер!.. Нет более Пушкина!.. Работа стала... недвижим плуг его лежит! Богатая почва ждет руки трудолюбивого пахаря. Современники, разделим труд: взбороним, размерим сию плодоносную землю. Пусть потомству созревает плод!..» Да, говорит Василий Иванов, долг современников — собрать все о Пушкине для потомков, ничего не упустить, ничего не утерять.

Только что последовало указание министра просвещения Уварова не упоминать Пушкина ни в учебных курсах университетов, ни в научных занятиях «как человека нечиновного и в государственной деятельности себя не проявившего». Окружение Николая I боится самой памяти о великом русском поэте.

А студиозус Василий Иванов, разбирая поэзию, прозу и исторические сочинения А. С. Пушкина, пишет, что «Пушкин... опередил всех предшественников», что Пушкин — национальный Гений, что «имя создателя «Полтавы» будет равно сиять с именем Великого при оной Победителя», то есть сравнивает роль Пушкина для российской словесности с ролью Петра Первого для российского государства. Василий Иванов цитирует поэта-декабриста и друга Пушкина Федора Глинку, который говорит о Пушкине: «поэт бессмертен и живет!» При этом стихи Федора Глинки вынесены в эпиграф работы, упоминаются в тексте и завершают работу «О духе сочинений Пушкина».

Итак, Дерптский (ныне Тартуский) университет закончен. В том же 1839 году Василий Иванович (такое ему дано было отчество) Иванов становится учителем русской словесности в Гатчинском сиротском институте, то есть возвращается в свою альма матер в новом качестве. Десять лет продолжается здесь его работа. Только в 1850 году переходит он на преподавательскую работу в Александровский кадетский корпус в Царском Селе (ныне г. Пушкин). В 1860 году он переезжает с семьей в Петербург и преподает в частных гимназиях Мая и Видемана на Васильевском острове. С 1869 по 1880 год он работает в лютеранском училище («Петершуле») на Невском проспекте. В 1880 году вышел на пенсию и переехал в город своей юности — Гатчину, где и скончался в 80-х годах.

Павел Иванович Пестель.

Нам ничего не известно о первой семье Василия Ивановича и его детях от первого брака. Но в 1870-х годах, потеряв жену, Василий Иванович женится вторично, на молодой акушерке Александре Афанасьевне. Их дочь Зинаида Васильевна жила в Гатчине, окончила Бестужевские курсы и преподавала английский язык в Гатчинском реальном училище (ныне 4-я средняя школа), ставшем в 20-х годах школой имени В. И. Ленина. Умерла она в начале 20-х годов и похоронена на гатчинском кладбище. 11 апреля 1875 года родился у Василия Ивановича и Александры Афанасьевны сын Модест... Трудно объяснить, почему мальчика влекло море, но, преодолев сопротивление родителей, он становится кадетом Морского корпуса.

В 1894 году он был выпущен из корпуса мичманом и за отличные успехи рекомендован после двухлетнего кругосветного плавания на фрегате «Генерал-Адмирал» на гидрографический факультет морской академии. Во время практики в Кронштадте слушал там Модест Иванов лекции адмирала Степана Осиповича Макарова, свел знакомство с преподавателем минных классов, создателем радио А. С. Поповым.

В 1900 году лейтенант М. В. Иванов, окончив академию, едет с красавицей женой Софьей Александровной на Тихоокеанскую эскадру в Порт-Артур, служит штурманом на крейсере «Джигит», на броненосце «Наварин», на канонерской лодке «Отважный».

Началась русско-японская война. В Порт-Артур прибыл назначенный командующим эскадрой адмирал С. О. Макаров. Он предложил Модесту Ивано-

ву возглавить отряд траления. Этот отряд должен был расчищать от японских мин фарватеры для выхода эскадры на боевые действия. Отряд трижды обеспечивал выход эскадры из Порт-Артура. Не раз командир отряда оказывался на волосок от гибели; суда, которые под обстрелом неприятеля тралили фарватеры, нередко сами взрывались на минах. Об этом рассказывает книжка М. В. Иванова «Траление в Порт-Артуре» (Спб., 1906), сыгравшая большую роль в создании службы траления русского флота.

Когда боевые действия на море кончились, лейтенант Иванов возглавил флотский отряд на сухопутном фронте обороны Порт-Артура, водил матросов в лихие штыковые контратаки, трижды был ранен, но оставался в строю, за что генерал Р. И. Кондратенко наградил его золотым оружием с надписью «За храбрость».

Модест Иванов, геройски воевавший в Порт-Артуре, наглядевшийся на бездарность Стесселя и Вирена, руководивших обороной, понял бессмысленность политических целей русского самодержавия в этой войне; это, видимо, и стало началом пути, который спустя 12 лет привел его в Смольный.

Будучи капитаном I ранга, командиром крейсера «Диана» на Балтике в 1915 году во время первой мировой войны, Модест Васильевич твердо отказался идти на подавление матросских волнений на линкоре «Гангут». Его популярность на флоте была так велика, что вскоре после Февральской революции 1917 года он был единогласно избран на митинге команд 2-й бригады крейсеров Балтики начальником бригады. В бригаду входили крейсеры «Россия», «Диана», «Громобой» и ставшая потом легендарной «Аврора». Когда в августе 1917 года Керенский решил уволить в отставку Модеста Васильевича, активно сотрудничавшего с большевистским Центробалтом, на многотысячном матросском митинге в Гельсингфорсе была единогласно принята резолюция: «Капитану I ранга Модесту Иванову предложить остаться начальником бригады, а всякого вместо него назначенного другого выбросить за борт».

Веет духом революционного шквала от этих лаконичных, суровых слов. М. В. Иванов остался начальником 2-й бригады крейсеров вопреки так и не отмененному приказу Керенского, ориентировался на Центробалт и его руководителя — большевика Павла Ефимовича Дыбенко, который и рассказал о нем В. И. Ленину. Этот факт и объясняет появление упомянутой в моем рассказе ленинской радиограммы.

Центральный Комитет Российского Флота (Центрофлот) пользовался радиостанцией Морского генерального штаба, расположенной на острове Новая Голландия и часто именуемой этим же названием. Остров Новая Голландия расположен был вблизи Петроградского порта и отделен рекой Мойкой и Крюковым каналом. Эта радиостанция в числе первых средств связи была взята под охрану нарядом красногвардейцев из Смольного. Главной ее задачей была связь с базами и кораблями Балтики.

Недавно вышла весьма интересная книжка Н. Н. Митрофанова «Радио Октября. День за днем...» (Издательство политической литературы, 1974), где сделана попытка проследить историю революционного радио в первые дни Великого Октября, историю, начавшуюся в ночные часы 24 октября 1917 года выходом в эфир неизвестного радиста без позывных с призывом «Защитите всероссийский съезд Советов». Там упомянута и радиограмма Ленина Модесту Иванову. Мне удалось найти бланк этой радиограммы (тогда называли—«юзограммы»), полученной в Гельсингфорсе.

Интересно, что капитана I ранга старого флота В. И. Ленин вызывал не через командующего флотом, а через большевистский Центробалт...

В горячие дни Октябрьской революции Ленин более двух часов беседовал с капитаном I ранга М. В. Ивановым и предложил назначить его председателем Верховной морской коллегии с правами морского министра. Громадный авторитет на флоте и доверие революционных матросов помогли Модесту Васильевичу справиться в острейшей борьбе с саботажем многих адмиралов и офицеров, привести их сначала к повиновению Советской власти, а потом и к сотрудничеству с нею.

22 ноября 1917 года Всероссийский съезд моряков, в котором принял участие В. И. Ленин, единогласно присвоил капитану I ранга Модесту Иванову «за преданность народу и революции, как истинному борцу и защитнику прав угнетенного класса» звание контр-адмирала. Так стал он первым красным адмиралом задолго до того, как такие звания стали присваиваться советским военным морякам.

Руководство революционным флотом в первые месяцы Советской власти, участие в гражданской войне, организация в 1921—1922 гг. морской пограничной охраны республики и руководство ею по поручению Ф. Э. Дзержинского, Карская арктическая экспедиция 1930 года, доставка оружия сражающейся Испании, выполнение важных заданий Советского правительства сначала в РККФ, а затем в Совторгфлоте — таковы этапы славной жизни Модеста Васильевича Иванова.

Седьмого мая 1936 года ЦИК Украинской ССР по представлению Черноморского пароходства присваивает ему звание Героя Труда (звание Герой Социалистического Труда тогда еще не было введено).

Когда 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну, Модест Васильевич пишет письма в Наркомат Военно-морского флота — в строй, на любую должность, на любой корабль, хотя бы на госпитальное судно...

Но время идет, бомбы, голод и дистрофия косят людей. Пришел день, когда не хватило сил добраться до своего кабинета в Ленинградском порту (в это время он председатель третейского морского суда), и в феврале 1942 года не стало первого красного адмирала.

Идут годы, уже почти 60 лет прошло с того момента, когда радиостанция «Новая Голландия» передала в эфир слова Ильича: «Прошу немедленно приехать Петроград Смольный...»

В 1974 году поднят советский флаг на новом теплоходе «Капитан Модест Иванов», построенном николаевскими корабелами. Современный теплоход-сухогруз, корабль высокой морской и радиоэлектронной вооруженности, пошел в далекие порты, куда водил свои корабли старый моряк, давший ему свое имя.

В апреле 1975 года в Гатчине открыта мемориальная доска в память первого красного адмирала, к столетию со дня его рождения...

Вадим ГОРЕЛОВ

ПОЗНАНИЯ ВЕЧНОЕ ДРЕВО

Рисунки Е. МАЦИЕВСКОГО.

Если попытаться одним словом определить основную отличительную черту сегодняшнего исследовательского процесса, то, пожалуй, самым подходящим будет коллективность. Осуществление задач научно-технической революции немыслимо без объединенных усилий больших групп ученых, конструкторов, проектировщиков, порой насчитывающих тысячи человек. Индивидуальная научная работа уступила место коллективному творчеству. Времена гениальных одиночек и полукустарных лабораторий давно остались в прошлом.

Разумеется, человечество и впредь будет рождать могучие умы под стать Галилею, Ломоносову, Кеплеру, Декарту. Но делать ставку на столь редкое событие, как рождение гения, было бы в высшей степени опрометчиво. Современная наука не может основываться, как некогда, на сверхвозможностях выдающейся личности.

Сам научный поиск стал иным. Все поменялось. При жизни двух-трех поколений. Главное и второстепенное, суть и детали. Иными стали сроки. Иной — ответственность. Всеобщая «коллективизация» науки привела к значительному увеличению общественной ценности труда ученого, к росту социальной значимости самого процесса исследования. Если к этому добавить постоянное увеличение расходов, которые общество несет, обеспечивая научный поиск всем необходимым, то правомерность стремления к контролю становится очевидной.

Успешная работа современной лаборатории, практически любой, обходится очень недешево. Первый циклотрон Лоуренса, построенный в 1932 году, давал пучок протонов с энергией несколько большей миллиона электрон-вольт (мэв) и стоил всего тысячу долларов. Синхротрон на 6 тысяч мэв потребовал уже три миллиона долларов. А ускоритель такого же типа, в пять раз более мощный, обошелся в одиннадцать раз дороже. Нетрудно догадаться, сколь велики были расходы на сооружение гиганта в 80 миллиардов электрон-вольт. Но ведь и он уже не удовлетворяет физиков.

В нашей стране ассигнования на науку за последнее десятилетие возросли в несколько раз, а число учреждений, занимающихся исследовательской работой, достигло шести тысяч. Наверное, нам всем небезразлична ни эффективность данной статьи государственного бюджета, ни то, сколь велика отдача по этим вложениям. В максимальной отдаче заинтересованы и сами ученые, как члены общества, которое охотно тратит на их нужды свое богатство. Уместно будет вспомнить, что 60 лет назад В. И. Ленин в «Наброске плана научно-технических работ» впервые нацелил ученых на решение важных задач народного хозяйства.

Вот почему свобода научного поиска должна сочетаться теперь с регламентом: подход, метод, выбор, на что можно рассчитывать, а на что нет, заранее предопределен. А как же иначе? Нужен результат. И вовремя. От него зависит работа других. Так что программа, план, отчет обязательны.

Но может быть...

Школа В. В. Докучаева... Известно, что она дала науке намного больше, нежели все остальные вместе взятые исследовательские коллективы и отдельные ученые, разрабатывавшие те же проблемы. Именно она создала современное научное почвоведение и предопределила его дальнейшее развитие на несколько десятилетий. Причем каких десятилетий! Когда многие вчерашние глубочайшие теории сегодня переосмысливаются настолько, что становятся интересными только как материал для очередной главы истории естествознания, а их авторам остается лишь утешать себя неединственностью судьбы своих работ. И в это время почвоведческий факультет Оксфордского университета при зачислении на первый курс отдает предпочтение тем абитуриентам, которые владеют русским языком, лишь потому, что они смогут читать произведения Докучаева и учеников его школы в подлиннике. Наверное, не много научных подразделений со строгой организационной структурой могут похвастаться столь же безоговорочным признанием своих заслуг и значимости достижений.

Как делается научное открытие? Никто не может сказать с полной достоверностью, каким образом появляется та долгожданная мысль, которая упорядочивает сумму разрозненных, плохо связанных данных, расставляет все на свои места и рождает новое прочное знание. По поводу этого механизма можно лишь делать предположения, строить гипотезы.

Видимо, открытие есть результат интуитивной догадки, которая опирается на сопоставления и аналогии, результат отступления исследователя от обычного хода рас-

суждений, результат, позволяющий неожиданно все привычное и обыденное осветить новым светом; в случае великих открытий это называется «гениальным прозрением». Это слова Луи де Бройля.

Конечно, главное здесь — сопоставление. Однако прежде всего надо быть знакомым с фактами, концепциями, представлениями, которые подлежат сопоставлению, то есть располагать большим объемом знаний, позволяющих озарить все обыденное светом. Можно сколько угодно плескаться в ванной, но так и не найти, чему равен вес тела, погруженного в жидкость. А ведь легенда гласит, что Архимеда осенило именно во время ежедневных омовений.

Часто и охотно мы подчеркиваем роль случая в научных открытиях. Это и понятно. Людей всегда привлекает парадоксальность, неожиданность, элемент интриги.

Голландец Захарий Янсон, оптических дел мастер, шлифовал стекла для лорнета супруги господина бургомистра. Заказ был срочный, и умелец торопился. Он проворно менял шлифовальные камни и то и дело проверял линзы, подымая их к свету. В одну из таких проверок неожиданно крест далекой церкви как будто приблизился. В руках Янсона были выпуклое и вогнутое стекла. Так появился телескоп.

Спешка помогла и открытию вулканизированной резины. Неловкий сотрудник одной химической лаборатории торопился завершить очередной опыт. Его пригласили в гости или он пригласил гостей, неважно. Важно, что второпях он уронил на раскаленную печь кусок каучука и, к счастью, почему-то серу. Как будто ничего особенного. Но на проверку образовавшееся при этом соединение отличалось необычно высокой эластичностью. С тех пор человечество получило возможность пользоваться галошами, болотными сапогами, футбольными мячами и прочими весьма полезными предметами.

Хрестоматийной стала случайность в историях с засвеченными в полной темноте фотопластинками Анри Беккереля, благодаря чему была открыта радиоактивность, и с заплесневевшей лабораторной чашкой педантичного Флеминга, приведшей к открытию пенициллина.

Ну, а пресловутое яблоко Ньютона вообще всем набило оскомину. Хотя, по совести, эта садовая легенда от начала до конца шита белыми нитками. Во-первых, еще до сэра Исаака мысли о зависимости движения планет от Солнца высказал скромный астроном из Италии — Борелли. Во-вторых, закон об обратной пропорциональности силы притяжения квадрату расстояния одновременно с Ньютоном сформулировали его соотечественники Уррен и Гук Галлей. С последним у великого ученого даже вышла многолетняя тяжба за приоритет. Но не в этом суть. Сам автор закона всемирного тяготения говорил: «Я постоянно держу в уме предмет своего исследования и терпеливо жду, пока первый проблеск мало-помалу не превратится в полный и блестящий свет».

Вот в чем секрет. Надо постоянно держать в уме предмет исследования. Думать надо, размышлять постоянно. «Математические начала натуральной философии» Ньютон писал двадцать лет и в конце концов заболел от переутомления. Что же касается яблони, то она, конечно, была, и великий ученый как раз сидел под нею, когда с нее опадали спелые плоды. Это ведь так красиво. Тем более что легенду о прекрасном яблоке впервые мы узнали со слов Вольтера.

Трудно с полной определенностью сказать, как делается научное открытие. Но, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что, кроме всего прочего, для появления долгожданной, все освещающей мысли необходима некая атмосфера, благоприятствующая ее возникновению. Это очень важный момент — благоприятствующая атмосфера.

И здесь позволю себе цитату из книги человека, весьма далекого от научных забот: «Когда я думаю, как велика ответственность старших за сохранение «искорок», мне становится страшно. Надо расчищать путь молодым, обнадеживать, убеждать их, а иногда даже принудить, взять за плечи и бросить в воду, чтобы скорее научились плавать. Старое должно быть провозвестником нового, иначе к чему оно? Жалок и страшен вечер, если он не обещает завтрашнего дня...»

Это слова из книги народного артиста СССР Ваграма Папазяна. Подмостки сцены весьма далеки от научной лаборатории, но для творчества, для открытия чего-то нового им в той же мере необходима благоприятствующая атмосфера.

Как велика ответственность старших за сохранение «искорок». Как велика роль учителя, его примера, его влияния, его авторитета.

Известный советский физик академик Г. И. Будкер как-то сказал, что ученику время от времени необходимо получать конкретные результаты, по которым можно было бы судить о его способностях и квалификации. И квалификации тоже, потому что наука требует и владения ремеслом, умения хорошо делать свое дело. Этому, кстати, молодого ученого должен научить тоже наставник.

Еще в прошлом веке американский писатель Генри Торо, автор всемирно известной книги «Уолден, или Жизнь в лесу», убеждал: высшее образование надо организовать так, «чтобы студент не играл в жизнь и не просто изучал ее, пока общество оплачивает эту дорогую игру, а серьезно участвовал в жизни от начала до конца». Непосредственный жизненный опыт является, по его мнению, не худшим упражнением для ума, чем математика. Юноше, выковавшему себе нож из металла, им самим добытого и выплавленного, и прочитавшему при этом столько книг, сколько нужно для данной работы, Торо отдавал предпочтение перед его сверстником, который регулярно посещал в институте все лекции по металлургии, а нож получил в подарок от отца. Форма, в которую облечены мысли Торо, сегодня выглядит, может быть, несколько экстравагантно, но их смысл сохранил свою актуальность, хотя с тех пор прошло много времени.

Проблема взаимоотношения учителя и ученика всегда волновала лучшие умы. Человек давно понял, что от оптимального ее решения зависит темп движения вперед. Но каждое поколение для себя вновь открывает самые главные истины. Сформулированный столетие назад постулат Даля «Воспитатель в отношении нравственном сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника, по крайней мере, должен искренне желать быть таким и всеми силами к тому стремиться»,— этот постулат и сегодня для иных звучит откровением.

Свободное объединение единомышленников; взаимное уважение на основе моральной и научной значимости; чувство сопричастности к делу, важность которого одинаково понимают все объединившиеся; отказ от мелкого тщеславия и стремления к утверждению лишь своего авторитета; добросовестность в сопоставлении и объяснении всей совокупности фактов, имеющихся в распоряжении исследователя; непринужденное выражение собственного мнения со столь же непринужденным оспариванием его; равные права всех по отношению ко всем— вот неписаный моральный кодекс научной школы. Кодекс, которому следуют добровольно, без какого-либо, пусть самого малого, насилия над собой. И в этом его сила и действенность.

Кстати сказать, некоторые положения из этого неписаного свода правил были основой для цементирования знаменитого врачебного кружка «Ферейн», организованного великим русским хирургом Николаем Ивановичем Пироговым в 1843 году (отсюда старое название Центральной аптеки на улице 25 Октября в Москве — аптека Ферейна), кружка, оказавшего огромное влияние на развитие всей отечественной медицинской науки.

Научная школа — действительно весьма плодотворное объединение ученых и именно та организационная форма научной работы, которая была предпочтительной во все времена, а при нынешних сложных научных задачах особенно. Но каким образом можно способствовать созданию этого объединения? Как зафиксировать само его возникновение, чтобы оказать своевременную моральную и, главное, материальную поддержку? И возможно ли вообще ставить вопрос в такой плоскости?

Признаки научной школы известны. Впервые они были сформулированы три с половиной столетия назад выдающимся английским естествоиспытателем Фрэнсисом Бэконом, ученым, первым отстоявшим, по словам Бернала, идею о том, что применение науки в хозяйственной деятельности обязательно приведет к устойчивому улучшению благосостояния человечества.

Бэкона глубоко интересовали организационные формы исследовательской работы. Воображаемый им дом Соломона из «Новой Атлантиды» должен был стать, по мнению автора, прообразом научных объединений будущего.

Научную школу определяют, по Бэкону, пять признаков: 1. Глубокие и обширные знания о конкретных объектах или их комплексах. 2. Недвусмысленно сформулированные и громогласно объявленные философские принципы. 3. Желание критически изучать научное наследие своих предшественников и развивать все плодотворное из него. 4. Мужество в оценке достигнутых результатов и самокритичность в отношении к ним. 5. Умение учителей не только хорошо учить, но и учиться у своих учеников.

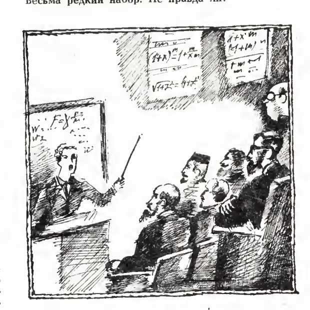
Легко заметить, что эти определения смогли противостоять разрушительному действию времени, и актуальность их столь же глубока, как в дни написания. А ведь человек, додумавшийся до этого, жил в глухих замках знатных особ Английского королевства времен Марии Стюарт, Елизаветы Тюдор и Якова. Сколь мудрым надо быть, чтобы твои мысли, пронзив почти четыре века, оставались полезными людям!

Однако, располагая любым, сколь угодно полным набором признаков, вряд ли можно рассчитывать, что они, сведенные воедино, сами по себе могут стать причиной реализации заложенного в них смысла. Научные школы, как свидетельствует история естествознания и техники, возникают сами собой, стихийно. Тем не менее обозначить факторы, влияющие на их возникновение, и всячески способствовать развитию этих факторов не только нелишне, но необходимо.

Один из важнейших факторов, влияющих на образование научной школы, коренится, на наш взгляд, в потребности, желании большого ученого, характер которого способствовал бы объединению вокруг него талантливых учеников, заниматься не только своими делами, но и делами других. Это очень серьезный, может быть, ключевой момент. От родоначальника школы, ее патриарха зависит многое: становление, достижения, успехи, апогей, промахи, большие и малые всплески, увядание, время жизни, наконец.

Чтобы иметь право на удовлетворение этой потребности, нужно обладать массой достоинств, незаурядными личными качествами. Надо быть первопроходцем и умнейшим человеком, прекрасным организатором и обаятельной личностью, оптимистом и терпеливым педагогом. Все это должно сочетаться со способностью легко генерировать оригинальные идеи, безукоризненной честностью, душевной щедростью и крепким здоровьем. Да, и крепким здоровьем тоже для этого надо обладать.

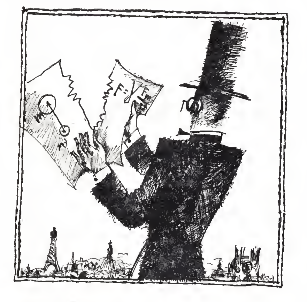
Весьма редкий набор. Не правда ли?



Эйнштейн был великим ученым. А школы после себя не оставил. И у Менделеева и у Лобачевского учеников тоже не было. Студенты были. Сторонники, почитатели, последователи. Но это не одно и то же. Это дает некое удовлетворение, но не позволяет сказать в конце концов, как Резерфорд: «Капица, ты знаешь, только благодаря ученикам я себя чувствую тоже молодым». Благодаря ученикам!

Как много история науки знает выдающихся ученых и как мало научных школ. Наверное, умение раскрыть себя, свои духовные богатства в широком общении — дар, встречающийся в среде исследователей реже, чем кажется. Но если уж он проявляется в большом ученом, то сколь щедры и весомы его плоды.

Кому не известна школа академика Иоффе? Этот человек был великолепным учителем. Он обладал такой энергией, обаянием, силой ума, принципиальностью, что в течение многих лет к нему в Ленинград в Физико-технический институт, как бабочки на свет, слетались со всех концов страны юные дарования, будущие члены Академии наук СССР — Ландау и Курчатов, Арцимович и Семенов, Харитон и



Кикоин, Амбарцумян и Курдюмов, Александров и Скобельцын. Почти все крупнейшие советские физики воспитывались в школе «папы Иоффе», став благодаря именно ей тем, кем каждый из них стал.

Мне кажется довольно точной мысль о том, что большой ученый влияет на своих учеников прежде всего как личность, а уже потом как исследователь. Часто качества характера наставника значат для его питомцев много больше, нежели сами научные дела, которыми он занимается. Известно, что молодой человек сплошь и рядом отдает предпочтение тому или иному направлению лишь потому, что его привлекает личность педагога.

Вообще роль учителя огромна. Во всем. Но наиболее сильно, наиболее концентрированно она проявляется в постановке задачи. Правильно и точно сформулированный вопрос — вот фокус отношений учителя и ученика. Иногда проходит много лет, затрачивается масса энергии и средств, прежде чем исследователь начинает понимать, что ошибка была допущена в самом начале, в истоке, в постановке задачи.

Вот, к примеру, онкологи уже начинают подозревать, что начатые в середине пятидесятых годов работы по изучению химиотерапевтических противораковых препаратов зашли в область слишком серьезных противоречий из-за неверной формулировки изначального вопроса. По крайней мере, если бы это было не так, то за прошедшие два десятилетия в почти идеальных условиях и при столь значительном внимании со стороны общества даже чисто статистически удалось добиться бы большего. Хотя, по делу говоря, этот свой секрет природа так тщательно упрятала, забаррикадировала ключи от него таким нагромождением непонятного, что и не мудрено ошибиться.

В книге А. Ф. Иоффе «Встречи с физиками» есть любопытный эпизод. В 1932 году немецкое Физическое общество присудило медаль имени Эйнштейна (была уже такая) родоначальнику квантовой механики Максу Планку. На шумном банкете по этому поводу виновник торжества рассказал, как после окончания Мюнхенского университета он пришел к профессору Джолли и сообщил, что намеревается посвятить научную деятельность изучению проблем теоретической физики. На что тот воскликнул: «Молодой человек, зачем вы хотите погубить свою будущность? Теоретическая физика закончена... Можно вычислять лишь отдельные частные случаи. Но стоит ли отдавать такому делу жизнь?»

А если бы Планк послушался?! Вот вам, «от обратного», роль учителя. Роль правильного понимания задач, которые следует ставить перед учеником.

Планку не было и 25 лет, когда он нашел силы порвать с известным профессором, руководившим его работой. Хотя ни тогда, ни потом Планк не отличался особой решительностью. Кстати сказать, это не так просто сделать, как порой кажется.

Молодому ученому наставник просто необходим. Потребность в учителе начинающий исследователь испытывает прежде всего из-за естественной неуверенности в себе, из-за сомнений, способен ли на большое дело. На пороге неведомого человеку всегда нужна опора, и он ищет ее у того, кто умудрен опытом, кто доказал, что способен реализовать свои возможности. Таков, как правило, учитель в глазах своего ученика.

Но случается, молодой ученик чувствует, что перерос наставника. Он начинает догадываться, что тот во многом ошибается, и находит в себе смелость доказать это. И доказывает. И превосходит своего наставника. В таких случаях учитель нам известен лишь потому, что некогда имел такого ученика.

Разумеется, незаурядную личность, которая была бы способна повести за собой большой отряд ученых, именуемый нами научной школой, не подготовишь на курсах усовершенствования. Хотя и очень хочется. Потому что ждать, пока она сама явит свои возможности миру, не очень-то рационально.

Но готовить ее и не надо. Ее должна воспитывать среда, соответствующая общественная атмосфера.

В Отчетном докладе ЦК XXV съезду КПСС четко определено: «Курс партии состоит в том, чтобы и впредь проявлять постоянную заботу о развитии большой науки, о ее главном штабе — Академии наук... Там сосредоточен цвет нашей науки — умудренные опытом основатели научных школ и направлений и наиболее талантливые молодые ученые, прокладывающие новые пути к вершинам знаний». Такое отношение к науке — залог постоянного ускоренного движения вперед. Общеизвестны и весьма значительные успехи советской науки во всех областях знания. Сегодня каждый грамотный человек знает, сколь выдающихся достижений добились научные школы Колмогорова и Капицы, Амбарцумяна и Семенова, Белозерского и Патона, Энгельгардта и Виноградова. Их неутомимое стремление к познанию тайн природы вместе с исследовательской настойчивостью тысяч других ученых нашей страны позволило советской науке войти в правофланговые мирового про-

гресса. В то, что за шесть десятилетий отсталая прежде Россия превратилась ныне в могучую державу, и они внесли свою лепту.

Научные школы никогда не возникают на голом месте. Даже самые революционные, самые ниспровергающие идеи зарождаются на почве, щедро удобренной гипотезами и теориями, которые до появления новых были общепризнанными и казались незыблемыми. Всякое новое знание уходит корнями в известное, в то, что уже не вызывает сомнений.

Академик Андрей Николаевич Колмогоров, один из самых выдающихся математиков нового времени, писал: «Очень важно, чтобы у молодого ученого смелость в создании собственных концепций и определении новых путей исследования сочеталась с правильной оценкой своих сил и уважением к сделанному в науке ранее».

Уважительное отношение к поискам, находкам, трудностям и сомнениям, которыми мучился кто-то до тебя, способствует объединению людей. А уж ученых, в силу специфики работы, тем более.

Конечно, достижения учителей, их дела надо оценивать трезво. Всякий человек, даже самый выдающийся,— прежде всего человек. Известный русский ученый Остроградский высмеял неевклидову геометрию Лобачевского, первоклассный французский математик Коши был невнимателен к работам своих учеников и иногда терял их рукописи, а блистательный Дэви пытался помешать избранию своего великого ученика Фарадея в члены Английского Королевского общества. Людям свойственны ошибки, рассеянность, зависть.

Уважение исключает верноподданничество и идолопоклонство. Оно позволяет вести поиск истины и не терять себя. Но вот любопытный пример из истории науки. Устав Кенигсбергского университета, не изменявшийся в течение столетий, и после смерти Канта носил странный характер. Невероятно, но еще в первой половине прошлого века деканы факультетов, современники и соотечественники Карла Маркса, обязаны были следить за тем, чтобы представленные к защите диссертации не содержали новых мыслей, чтобы соискатели ученых званий точно повторяли идеи своих наставников. Пагубное для развития науки правило, странная форма «воспитания» научной смены. Хотя заметим, что с завуалированными разновидностями подобных порядков, как сказал один крупный ученый, мы иногда сталкиваемся и поныне.

Иметь собственную школу — именно в смысле «иметь» и «собственную» —лестно и почетно, да и не лишено некой личной заинтересованности. Уже молодые исследователи созданного Аристотелем в Афинах Ликея не только занимались своими, как мы сказали бы сейчас, темами под руководством учителя, но и собирали сведения, нужные для его работы. Только благодаря этому великий эллин смог оставить после себя такое обилие сочинений, поражающих нас две с половиной тысячи лет спустя многообразием и энциклопедичностью.

Но это Аристотель и его Ликей. Так сказать, дела давно минувших дней. А вот кáк наши современники решают подобные этические задачи? Случается, что решают не лучшим образом.

Иногда достаточно солидный ученый объединяет вокруг себя группу исследователей, пытаясь выдать ее за научную школу. Затрачивается масса энергии, проявляется удивительная изворотливость, но созданные таким образом административные образования, претендующие на роль научной школы, далеки от плодотворности, на которую они рассчитывали.

...Как много составляющих. И все первостепенны. А что же все-таки важнее всего для достижения желаемого результата? Было бы опрометчиво давать однозначный ответ на этот вопрос. Однако еще один фактор следовало бы упомянуть. Речь идет о мировоззрении, о позиции исследователя.

Если ученый любого ранга полагает, что главное в достижении научного успеха — новые знания, а система миропонимания, философская концепция — область деятельности философов, то его возможности стать родоначальником целого направления, настоящим Учителем, главой научной школы весьма скромны. Более того, как показывает опыт, их просто нет.

Все выдающиеся исследователи были крупными философами. Философами в том смысле, что их мировоззренческие принципы были недвусмысленно сформулированы и громогласно объявлены. Совершенно определенно можно говорить о том, что без четких философских взглядов открыть новую страницу в науке невозможно.

Пожалуй, наиболее яркое тому подтверждение — история, приключившаяся с блистательным французским физиком Анри Пуанкаре. Того самого, который в первые годы нашего бурного столетия написал известные критические замечания о классической механике, обратив внимание, что она, хотя имеет дело лишь с относительными движениями, тем не менее помещает их в абсолютном пространстве и абсолютном времени, что является чистой условностью. Он был настолько смел, что закон всемирного тяготения назвал всего лишь гипотезой, которая может оказаться опровергнутой опытом. Ему оставалось совсем немного, всего один шаг до границы, за которой открывался невидимый до того простор — всего один шаг до основного закона теории относительности. И все для этого было — талант, знания, ясность ума. Подвела ограниченность мировоззрения. Эйнштейн обессмертил свое имя именно там, где Пуанкаре не нашел предмета для глубоких обобщений.

Правда, как уже было сказано, Эйнштейн не создал своей научной школы и, к сожалению, не имел учеников. Но это, наверное, не вина, а беда, так сказать, парадокс личных качеств великого физика и великого человека, который жил и работал в Принстоне, сделавшись в конце концов «для местных ребятишек курьезным старичком с взлохмаченной головой, которого все любили».

Как богата история науки примерами, которые могли бы пойти нам на пользу, постарайся мы извлечь из них урок. И как много ошибок удалось бы избежать, поступай мы всегда, руководствуясь здравым смыслом и опытом, накопленным до нас.

●

Лев
ФИЛАТОВ

ЛИШНИЕ БИЛЕТИКИ...

Рисунок О. КОКИНА.

Известно, что для очень многих людей сделалось привычкой, если не потребностью, поговорить и поспорить о футболе. Спорят о матчах давно сыгранных и о предстоящих, о закономерностях, которым послушна игра, и о ее причудах и странностях, о том, как она меняется со временем и что в ней неизменно, о ее красоте и о том, что ее искажает. Само собой разумеется, особенно рьяно спорят о судьбах нашего футбола, стараясь докопаться до причин, не позволяющих нашим мастерам брать первые места так часто, как этого хотелось бы их терпеливым поклонникам. И никого не смущает, что футболу уже сто с хвостиком, что даже прадеды и деды имели собственное твердое мнение по многим вопросам. Все равно и в устных и в письменных — на страницах газет — схватках и перепалках едва ли не каждое слово преподносится как открытие, как окончательный убийственный аргумент.

И пусть идет этот спор. Лишь обуянному гордыней или невежде может померещиться, что ничего не стоит раз и навсегда внести ясность во все «вечные» проблемы. Не так все в них просто. Не лишено вероятия, что в них замешан не один футбол, в них отражены и мы сами, с нашими взглядами и симпатиями, прозрениями и заблуждениями, чертами характера и воспитанием, с нашим умением истолковывать увиденное и перечувствованное. И когда называют футбол «народной игрой», то ведь и число резвящихся с мячом имеют в виду и число близко принимающих его к сердцу. Мне думается, что поигрывающих в волейбол у нас даже побольше, но, согласи-

чтобы вынести окончательное заключение. В его отчете были такие слова: «Автомобнль практически не нуждается в дорогах, можно быть уверенным, что в нужиое тебе место доедешь обязательио».

Два года тому иазад автомобильный мнр облетела уднвительиая новость: четырнадцать итальяицев на четырех автомобилях «УАЗ-469» и мотоцикле «Диепр» за сорок дней пересекли Сахару, проделав одиниадцать тысяч километров!

Готовить машины к этому пробегу помогал ннженер-испытатель Алексаидр Соколов, тогдашний представитель автозавода в Италии. А возглавляли переход через Сахару братья Витторно и Луиджи Марторелли, владельцы фирмы «Марброз», специалнзирующейся на продаже «УАЗов». Луиджи — известный автокроссмен, много раз побеждавшнй на чемпноиатах Италин. И он и его команда раньше выступали на «ГАЗ-69», сейчас — на «УАЗ-469». В чистом внде автомобильного кросса в Италии нет: трасса разбита на отдельные участки — скоростиой, горный, трудиопроходимый, езда по руслу реки и т. д. Если в соревнованни участвует комаида Марторелли, шансов на победу у сопернnков почти иет. А в ноябре прошлого года на традициоином Турннском автосалоие журнал «Фуори Страда» («Вне дороги») провел своеобразные состязаиия: автомобнли повышеиной проходимостн, представленные в салоне, демонстрировали свон возможности.

В прнсутствии иескольких тысяч зрителей «джнпы», «тайоты», «фнат-компаньолы», «ленд роверы», «багги» и «УАЗ-469» взяли старт у подиожия Альп. После десятндиевных дождей н без того сложную трассу с крутымн подъемами и спусками совсем развезло. Большинство водителей надели на колеса спасительные цепи. Но от иачала до конца с первой попытки трассу прошел только один автомобиль — «УАЗ-469».

— Судьба ульяиовских машин в Италпи весьма ннтересна,— рассказывает Соколов.— Онн, иапрнмер, возят туристов к кратеру Этны. Владельцы фирмы «Стар», которая этнм занимается, перепробовали множество автомобплей, но ин однн из них не смог добраться до вершины. Сделать это удалось только Николаю Константнновичу Одинцову на автобусе «УАЗ-452В». С тех пор двенадцать этих машин регулярно доставляют туристов к самому кратеру вулкана.

И, накоиец, последняя истории — о том, как «УАЗ» выдержал испытание на Эльбрусе. За это взялся тренер комаиды «Авто-УАЗа» по автокроссу Гарнф Абдулович Халитов со своими ученикамн Владнмиром Дунаевым, Юрием Булагиным н Владимиром Харужа.

— Это решение возннкло в семьдесят втором году,— рассказывает Халитов,— когда на соревноваииях в Латвии мы позиакомились с Алексеем Берберашвили — большим знатоком автомобнльиого спорта, жнвущим в Нальчике. До этого мы чнтали и в газетах н в специальиых журналах о том, что Берберашвили поднимался на Эльбрус и на отечественном мотоцикле н на чешской «Яве». Так вот он предложил нам проделать то же самое на «УАЗах».

Эта идея нас увлекла. И не просто тем, что Эльбрус высок. На Памире, иапрнмер, на высоте более четырех километров проходит дорога, н там иормальио работают автомобили разиых марок. Да и сами мы там целую неделю испытывали «УАЗ-469». Но одно дело—дорога, пусть н за облаками, а другое — леднnк под колесами. И еще надо учесть, что «УАЗ-469» тогда был в общем-то виове и к нему относились с известным иедоверием. Думали почему-то, что он хуже прежнего «ГАЗ-69». Впрочем, вы можете прнпомннть хоть одну новую машину, о которой бы ие говорнли поначалу, что старая была лучше? Это, знаете, как старые домашние шлепаицы — всунул иоги в иих, и порядок. А к новым привыкать надо, разнашивать, может быть, где-то н жмет. «УАЗ», конечно, лучше «газика» по ходовым качествам, да и внешне выразительнее. В управленин, может быть, потяжелее, но это дело привычки... Короче, идея Берберашвили давала лишний шанс доказать возможности «УАЗа»!

В семьдесят четвертом году очередные соревнования по автокроссу проходили в Тбнлиси и до Эльбруса было рукой подать. И мы отправились на разведку. На трех «УАЗ-469» поднялись до Ледовой базы — опорного пункта альпиннстов. Отсюда безо всяких прнключений добрались до ледника. С иами были Алексей Берберашвили и начальник базы Магомет Ибрагимов. Вышлн нз машии, огляделись, пощупали, как говорнтся, леднnк руками н решили, что следующим летом подиимемся до Приюта одиннадцати. К леднику, правда, тогда пришлось съездить вторнчно: два альпинnста нз команды ФРГ, которая тренировалась на Эльбрусе, попали в трещину, и мы отвезли иаверх спасательную группу.

Наступнло новое лето, и мы опять приехали иа Эльбрус. Погода не радовала. Казалось, весь годовой запас снега обрушился на дорогу, ведущую к Ледовой базе. Сначала мы пробовали расчищать его лопатами, однако очень скоро выяснилось, что это все равно что пытаться разгребать заносы руками. Вызвали иа помощь бульдозер, но н этого помощника прншлось втаскнвать чуть ли не на руках. Путь, который год иазад занял какнх-то полчаса, мы проделали за неделю. Наконец, переночевав на Ледовой базе, начали путь к Прнюту одиниадцати. Прошли по леднику около двух километров и... наткнулись на трещину шириной метра три н глубиной, иаверное, метров триста. Что делать? Надо было лнбо возвращаться иа базу за досками н наводить мост, либо отложить подъем. Ребята не хотели откладывать подъем, но я не пошел на риск ради риска н сказал, что подождем с Эльбрусом еще год.

Прошедшим летом мы приехали на соревнования в Кнровоград, после которых собиралнсь отправиться на Эльбрус. И вдруг в Кировограде узнаем, что тот же Алексей Берберашвили самостоятельно поднялся на Эльбрус — въехал на «УАЗе» на высоту 4670 метров. Мои ребята несколько огорчнлнсь, конечно, что Берберашвилн нх не дождался. Но профессия испытателя учит не гнаться за лнчной славой. Главное — слава автомобиля. А в даином случае Берберашвили еще раз доказал отличиое качество новой модели «УАЗа».

Эту историю Халитов рассказал мие в коице прошлого года — в тот вечер, когда мы встретились, он только что возвратился из леса, где выбнрал иовогоднюю елку. Эту елку никто ие собнрался рубить — ульяиовские испытатели Новый год традициоиио встречают в лесу. Садятся иа машины с семьямн, друзьями, берут с собой магнитофоны, доски для столов и все, что по этому случаю положеио на столах иметь, наряжают при свете фар елку... Снежной зимой добраться до нзбранной елки бывает не так просто. Но дорожные прнключеиия в иовогоднюю ночь не страшат испытателей.

Владислав
СТАРЧЕВСКИЙ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Совсем недавно, в первом номере нашего журнала, мы поздравляли Стасиса Красаускаса с большим и радостным событием — присуждением ему Государственной премии СССР. Прекрасный цикл гравюр «Вечно живые» — последняя и самая значительная работа художника. Теперь это название — «Вечно живые» — звучит символично и для самого Стасиса, ибо смерть, которая так безжалостно оборвала его жизнь в самом расцвете, не властна над творениями мастера, над памятью об этом замечательном художнике и человеке. Эту утрату переживают все, кто знал и любил Стасиса Красаускаса, кому его искусство близко и дорого своим жизнелюбием, искренностью, чистотой.

Он был большим и верным другом «Юности», ее читателей. У нас в редакции прошла первая его выставка. Нашему журналу он подарил один из своих великолепных рисунков, который стал символом «Юности».

Все созданное им навсегда останется в советском искусстве, как высокий образец гражданственности, вдохновенного мастерства. А в наших сердцах будет жить образ доброго и прекрасного друга — Стасиса Красаускаса.

Стасису Красаускасу

Этого стихотворенья
ты не прочтешь
никогда...
В город вошли,
зверея,
белые холода.
Сколько зима продлится,
хлынувши через край!
Тихо в твоей больнице...
Стаська,
не умирай...
Пусть в коридоре голом,
слова мне не сказав,
ставший родным,
онколог
вновь отведет глаза.
В тонкой броне халата
медленно я войду
в маленькую палату,
в тягостную беду.
Сделаю все,
как нужно,—
слезы сумею скрыть.
Буду острить
натужно,
о пустяках говорить,
врать,
от стыда сгорая...
Так и не разберу:
может быть,
мы играем
оба
в одну игру!!
Может,
болтая о разном,—
очень еще живой,—
ты между тем
прекрасно
знаешь
диагноз свой!
Может,
смеешься нарочно
в этот
и в прошлый раз,
голову нам мороча,
слишком жалея
нас!..
В окнах
больших и хмурых
высветится ответ:
как на твоих гравюрах —
белый и черный цвет.
И до безумия просто
канет
в снежный февраль
страшная эта просьба:
Стаська,
не умирай...

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ПРОЗА